

Юний Горбунов

ДАРСОНВАЛЬ



Юний Горбунов

Дарсонваль

«Издательские решения»

Горбунов Ю.

Дарсонваль / Ю. Горбунов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-906406-6

В книге собраны произведения автора, написанные в разные годы жизни (1979—2012) и в разных литературных жанрах. Однако, эти произведения объединяет торжество в человеке творческого поиска, духовных и душевных качеств, исключение в общественных отношениях всякого рода насилия над личностью. На первой странице обложки: В. А. Серов. Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту. 1900.

ISBN 978-5-44-906406-6

© Горбунов Ю.
© Издательские решения

Содержание

РАССКАЗЫ	6
МАЙКИНА ИГРА	6
ДВОЕ В ХРАМЕ	17
ДАРСОНВАЛЬ	23
ИЗЪЯН	28
1	28
2	30
3	33
АНЮТА	38
1	38
2	39
3	42
4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Дарсонваль

Юний Горбунов

© Юний Горбунов, 2018

ISBN 978-5-4490-6406-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РАССКАЗЫ

МАЙКИНА ИГРА

Майка стояла перед зеркалом и наскоро прихорашивалась. Потрогала пальцами ресницы, провела по губам карандашом помады, повертела головой туда-сюда, одернула платянице, чтобы в разрезе чуть-чуть была видна ложбинка груди – это нынче модно.

В окно, сквозь бутоны цветущей гортензии, Майка видела часть двора. Обернув газетой дужки двух ржавых гири, Игорь Иванович пружинисто, без особых усилий выжимал их поочередно – левой, правой. Он был в новом тренировочном костюме, с обнаженными по локоть в меру загорелыми руками. Пышные волосы прихотливо спадали сзади до самого ворота.

Со вчерашнего вечера, когда Игорь Иванович вместе с Семаковыми приехал из города, занимает он Майкино воображение. Ей нравится видеть в нем будущего мужа, представлять, как поедут они в город на пригородном поезде из трех вагонов и что она будет говорить знакомым, до смерти любопытным проводникам.

Нет, Майка не легкомысленна. А воображать каждого, чуть понравившегося, мужчину своим мужем – стало ее любимой игрой, маленькой, безобидной тайной. Поначалу она себя совестила, но совладать с капризом не могла. И успокоилась.

Майка выбежала во двор. Озабоченная, будто бы спеша, прошмыгнула мимо Игоря Ивановича в огород. «Даже не глянул. Ишь, какой», – мелькнуло у нее.

Игорь Иванович между тем солидно говорил хозяину:

– Ты нынче, Яков Кузьмич, сам-то гужи не рви. И тебе с Милитиной Федоровной отдохнуть надобно. Нас эвон какой колхоз. Накосим вам на зимушку за милу душу. Не перестояла трава-то?

– В самый раз, – немногословно ответил Яков Кузьмич под стук молотка, которым отбивал литовку.

У Игоря Ивановича легко на душе. Он ощущает свое сильное, молодое тело так же реально, как вот эти податливые гири. Он чувствует, что стосковался по мускульной мужской работе. Ему хочется сразу стать здесь своим. Он знает, что сумеет это, что у него получится.

Мальчишкой-школьником Игорь Иванович бывал на безымянном полустанке о трех домишках, у давних знакомых отца – бывшего железнодорожника Якова Кузьмича и его жены Милитины Федоровны. Даже брал в руки литовку и косить пробовал. Тогда это было почти баловством, и ничего путного у него не получилось. Но сейчас он уже не тот пацаненок. Литые бицепсы, тренированное тело. Все, несомненно, будет по-иному.

Игорь Иванович подумал так и тут же с досадой поймал себя на том, что все-таки чуть-чуть бодрится. А до конца распахнуться, почувствовать себя раскованно что-то ему мешает. Не этот ли чуть слышный говорок под навесом? Там Семаковы ладят новые слуги – копны носить. Отец и сын, они не лицами, а чем-то другим похожи друг на друга. То ли своими кирзовыми сапогами, то ли неспешными движениями и почти молчаливым, с полунамека, соглашением.

– Погоди, отец, дай я держак пошлифую, чтобы мозолей не наделали.

– А добро. Мне вон на середке сучок не нравится. Ну, как не выдюжит?

– О чем разговор. Запасную слугу ошкурим. Делов-то.

– Я тоже думаю. Подбери-ка поровней жердину.

До конца разобраться в своих ощущениях Игорь Иванович не успел, потому что мимо опять суетливо пробежала Майка и скрылась за калиткой. Игорь Иванович едва помнил ее,

застенчивую девчонку без особых примет. А вот поди же ты! Выросла, похорошела, даже замужем, говорят, успела побывать.

А за калиткой, куда убежала Майка, у палисадника, окруженного почти вровень с забором ядреной крапивой, стояли две женщины. Полная – соседка – с усмешливым любопытством наблюдала за Игорем Ивановичем и одновременно кивала головой, внимая торопливому шепоту хозяйки дома – худенькой Милитины Федоровны.

– Ноне у вас людей богато, в два дни управитесь.

– И не говори, милая. Эка артель привалила, – отвечала довольная Милитина Федоровна. – Семаков-от Григорий Петрович почитай кажин год, спасибо ему, из города наезжает. Мы с ним с молодых лет дружимся. Николай его тоже: как в отпуск – так к нам. То с женой да с дочкой, то один.

– А это кто, молодой-от? – спросила соседка.

– Да Игорь Иванович – сынок Ивана Матвейча, что в третьем годе помер. Я тебе сказывала. Они с Семаковыми в городе соседи.

Милитина Федоровна чуть помолчала и продолжала шепотом:

– Образованный. Институт покончил учительский. Два года где-то, в Казани ли, в Рязани ли, отрабатывал, а ноне домой возвернулся.

– Гляди ты! Отец-от не дожил до этакой радости. Вот посмотрел бы, полюбовался. Сам-от, знать-то, робил все, не до учебы было.

– И-и, какое там! С фронту калеккой возвернулся, а без его жену схоронили. Другую взял. А уж сыну-то как обрадовался! Робил, с заводу не выходил. Вот, говорил, школу покончит, в институт отдам!

– Косить-то умеет ли? – с улыбкой кивнула соседка в сторону Игоря Ивановича.

– Да где поди-ка! Пособит маленько – и ладно.

– Ну с богом вам, – торопливо махнула рукой соседка, увидев, что мужчины выходят со двора.

Покос у Якова Кузьмича был рядом с домом. Начинаясь от печальных береговых ракиг густым разнотравьем, огибал обнесенные жердями картофельные грядки, стайкой беспечных тонконогих лютиков взбегал на береговой угор, а уж тут раздольными зелеными волнами катился на ветру до самой железнодорожной насыпи. Там десятка два молоденьких осинок, трепетно приподняв свои зеленые подолы, купали ноги в росной прохладе травы. А сквозь их листву видно было, как плавится знойным маревом слепящая полоса рельсов на близком горизонте. – Припозднились мы нынче, а, Яков Кузьмич? – огласил луг своим звонким фальцетом Семаков-старший. – По росе бы надо выходить.

– Не печалься, куманек, впереди еще денек, – голосисто отозвалась Милитина Федоровна.

Солнце и впрямь уже щедро расплескалось по реке, а в листве старой ивы всюю гудели невидимые пчелы.

И вот на заливном лугу, в густой, еще не высохшей траве, обозначился первый ровный и аккуратный прокос.

За Семаковым-старшим размашисто пошел Николай. Его движения молодо раскованны, плавны и легки. Густым, богатым валком легла слева от него трава, а сзади осталась ровно и чисто подстриженная дорожка, как раз посередине обозначенная двумя стежками росных следов.

Третьим встал Яков Кузьмич. Игорю Ивановичу и Майке места на берегу не осталось. Им предстояло начинать на угоре, от жердяной изгороди, где Милитина Федоровна поставила вместительный бидончик с ледяным погребковым квасом.

Игорь Иванович начал было решительно махать литовкой. Но сразу понял, что работа это не простая и одними мускулами ее не возьмешь. Стараясь захватывать, как Николай, широко

и наотмашь, он или срезал только половину травы, оставляя высокую неаккуратную стерню, или неожиданно засаживал конец литовки глубоко в землю. Мечту о широком полукруглом прокосе пришлось оставить. Прошло не больше получаса, а тело под спортивным костюмом от напряжения покрылось липким потом, в руках почувствовалась предательская слабость, а перед глазами замельтешили темные пятна.

Игорь Иванович остановился. Сзади него на два – три метра до изгороди тянулась неровная дорожка влажной спутанной стерни и клочков травы. Она катастрофически сужалась, образуя уродливый полупрокос.

Все вокруг стало бесцветным. Хотелось упасть ничком в мокрую стерню и закрыть глаза.

Подошла Майка, протянула влажный и холодный бидончик с квасом.

– Надели бы рубаху вместо свитера. Не слушаетесь все, форсите.

Игорь Иванович сделал несколько жадных глотков, слыша, как противно и неостановимо стучат о край бидона зубы. И сразу все краски вернулись окружающему миру.

Он стянул спортивный свитер, оставшись в майке, вытер им лицо и улыбнулся, как бы говоря: «Давненько же не брал я в руки литовку».

Про себя Игорь Иванович сразу решил, что спешить не будет. Если так надрываться, то и одного раза до насыпи не дойдешь. Косарь из него, видимо, никудышный. Кесарю – кесарево. Дернуло за язык трепаться во дворе и играть мускулами. Ну да что сейчас переживать. Будет у Якова сено. Вон Семаковы какими комбайнами идут. Любо-дорого. «А ну-ка их в десятый „Б“ на сорок пять минут?!» – как бы за что-то в отместку подумал вдруг Игорь Иванович, и кошмарные, пережитые только что минуты тотчас отодвинулись, забылись.

Вспоминать начало учительской практики было приятно. Особенно первый урок в десятом.

... – Здравствуйте. Видит бог, как все устроено в этом мире: давно ли я сам сидел вот здесь, на вашем месте. – Игорь Иванович подходит ко второй у окна парте и слегка касается рукой плеча русоволосой девушки. – Конечно, не всегда на этой. Была и у меня галерка, где мы с приятелями на уроках литературы, усомнившись в законе Бойля-Мариотта, решили сами изобрести этот очаровательный велосипед.

Игорь Иванович сделал паузу. В чем суть закона Бойля-Мариотта, он помнил смутно, но с удовлетворением отметил, что класс заинтригован.

– А потом... – Игорь Иванович оставил плечо русоволосой ученицы и подошел к окну. —

Тихонько движется мой конь

По вешним заводям лугов,

И в этих заводах огонь

Весенних светит облаков

И освежительный туман

Встает с оттаявших полей.

Заря, и счастье, и обман —

Как сладки вы душе моей.

Упоительный, нестареющий Фет! Его стихи пахнут! Вы чувствуете аромат?

И освежительный туман

Встает с оттаявших полей...

Ведь чувствуете?

И снова оказался он у второй парты, и опять его чуткие пальцы коснулись волос на плече...

Класс затих. Прошла почти минута, когда Игорь Иванович, отведя рассеянный взгляд от окна, вдруг смущенно улыбнулся:

– Ах да, извините, пожалуйста. Мы ведь и не познакомились еще. Меня зовут Игорь Иванович. Я у вас буду вести литературу...

Таким был первый урок. И похожими на него были остальные. У него получалось все: и неожиданные будто бы порывы поэтического чувства, и вовремя, но как бы невзначай, брошенная шутка, и увлекательный рассказ с интригующими подробностями чьей-либо биографии, которые всегда с такой готовностью выкладывает его память. Приятно было чувствовать себя как бы вне возраста – юным, как они, и в то же время ненавязчиво мудрым... И еще невыразимо приятно было смотреть на себя со второй у окна парты восторженными глазами русоволосой Нади Переваловой...

Кесарю – кесарево...

Игорь Иванович косил теперь не спеша, но старательно. Много не захватывал, широко не замахивался. Оказывается, если не отрывать пятаку литовки от земли и слегка приподнимать носок, – косить будет куда легче и стерни почти не остается. Даже прошлогодний жухлый осинный лист весь на виду. Нет, правда, того красивого замаха, широкого, как улица, прокоса, но вон и Маечка вроде как не рвется в передовики. Легко идет, ровненько, но соседа обгонять не спешит. Вот и отличненько. Косить-то еще во-он сколько. Семьдесят семь потов сойдет.

Майке действительно не хотелось торопиться.

Она любила страдовать. Так же, впрочем, как ходить за коровой, раненько утром мыть полы в доме или полоскать на речке белье. Все это делала она не надсадно, а как песню пела – у каждой свой мотив, свое течение. Одно только требовалось Майке, чтобы не в тягость была работа, – было бы о чем мечтать.

В жизни все не так ладно получалось. Сиротой Майка осталась рано. Кормилась и росла, училась до восьмого – все будто в долг брала. Нет, ни молчаливый Яков Кузьмич, ни хлопотливая Милитина Федоровна не попрекали ее куском, но и дочкой не называли ни разу. Словно бы некогда им было приголубить ее, приласкать. То, глядишь, корова отелилась, большая вода пришла, овца ногу покалечила, а там и страдовать пора... Бесконечная крестьянская круговерть.

Майка рано вышла замуж. Повалился один шофер из города. Зимой за сеном едет – заглянет. Летом со спиннингом на выходной прикатит – у них остановится. Так и познакомились. Уехала Майка к мужу в город, поступила на завод. Любила ли она Виктора? Кто знает... Жалела больше – пил он. И такой был беспомощный, даже в пьяном гневном, когда над ней куражился. И казалось Майке в такие минуты, что эта ее жизнь и есть тот долг, который она кому-то отдать должна...

И терпела Майка, и жалела, и голосила потом над гробом мужа своего: Виктор погиб в случайной пьяной драке. Жизнь Майку не баловала. Зато всегда была у нее мечта. То о подруге единственной на всю жизнь, то о ребенке – капризном и непоседливом мальчугане. А сейчас вот думалось-мечталось ей об Игоре Ивановиче...

И хорошо было косить податливую влажную траву, видеть перед собой молодого, сильного, но неуклюжего в крестьянской работе человека, слегка сбивать шаг, чтобы не задеть литовкой ненароком, и дать почувствовать его мужское превосходство.

– Во идут! – сказал, остановившись, Игорь Иванович. – Особенно Семаковы. А Колька, Колька! И где он так насобачился?

– Так он же, как приедет, у нас околачивается. Вместе с отцом, – обрадовавшись разговору, тотчас отозвалась Майка. – То переметы ставят, то лодку смолят. А уж как покос – без них не страдаём. Вот и наловчился. Да и ничего особенного. Вы два-три раза покосите, так же будете.

Игорь Иванович не спеша вдавил в землю рукоятку литовки, достал брусок и начал неловко водить им по лезвию.

– Оботрите сперва литовку-то, – посоветовала Майка.

– И верно, – вспомнил Игорь Иванович. Подхватил пучок скошенной травы и, обхватив им лезвие, вытер.

Точить он старался небрежно, как заправский косарь, но металлический звон почему-то резко обрывался, не складываясь в знакомую Майке мелодию сенокосного утра. «Наверно, боится руку порезать», – невольно подумала она.

– Нет, а мне Семаковы интересны, – уловив в Майкиных словах пренебрежение, начал Игорь Иванович. – Сколько их знаю и все удивляюсь. Даже не так надо сказать: восхищаюсь ими.

– А чего ими восхищаться-то? Люди как люди. Григорий Петрович всю жизнь в одной гимнастерке прожил. А Колька, говорят, в Куйбышеве дворником работает. Эка невидаль. Мне так по душе красивые люди, необычные. Ну как... – Майка слегка запнулась. – У нас в городе сосед был, артист драмтеатра. Зимой ходил без шапки. На работу утром идет, обязательно нам позвонит: «Доброе утро, Маечка. Если ко мне друзья нагрянут, скажите им, чтобы двери не ломали – ключ под половичком».

Она оперлась подбородком о черенок литовки. Пепельные пряди выбились из-под платка. И лицо стало таким отрешенным, по-детски наивным, что Игорь Иванович ахнул про себя: «Вот так русалочка! Подойди, поцелуй – и не заметит: ветерок налетел – и все».

Заостренная брусом коса пошла легко, хотя набравшее высоту июльское солнце уже выпило с травы почти всю росу. Над лугом, то тут, то там убранном желтым ситцем лютиков, уже завязывался аромат сохнувших трав. На несколько прерывистых мгновений повис в воздухе тугой, вибрирующий гуд шмеля. Из запаха трав и звука крыл шмелиных, из жаркого марева над рельсами родился неповторимый июльский полдень.

Игорь Иванович косил все так же неспешно, сохраняя силы, регулируя дыхание. Литовка стала послушнее в руках, хотя прокос по-прежнему был вполосину уже соседнего.

Но это теперь совсем не задевало его. Чуткая интуиция вдруг подсказала, что открытая им русалочка глухого полустанка тянется к нему, как бабочка на пламя, ждет чего-то необычного и вся – внимание. Это было уже интересно. Значит, он нужен здесь не только как рабочая сила. Майка – прилежная и восторженная слушательница. Сельский вариант Нади Переваловой.

Все обретало иной смысл и значение: и начатый так неудачно день, и все более послушная рукам литовка, и знойный полдень, обещающий близкий отдых у воды в тени раки.

Семаковы и Яков Кузьмич закругляли уже у насыпи свои первые прокосы, и оттуда доносился звонкий фальцет Григория Петровича. Его голос в знойном воздухе удивительно напоминал пение жаворонка.

– Ну как литовочка – бойко ходит? – еще издали заговорил Семаков-старший.

Он шел, маленький, плотный, в стоптанных кирзовых сапогах. Гимнастерка навывпуск, а ремень висит на плече. В одной руке литовка, в другой кепчонка. Знойный воздух шевелит редкие волосы.

– А, погоди, отдохни. Пускай еще порастет. И где это у тебя, Мили-тинушка Федоровна, квасок припасен? – начал он звонкоголосую переключку. И хозяйка тотчас отозвалась частушечным речитативом:

– Хочу квасу – нету спасу. Ай нет покрепче ли чего?

Отдыхать наладились у жердяной изгороди. От реки слегка тянуло влагой. Солнце почти не пробивалось сквозь неподвижную листву раки.

Черенком литовки Майка разбросала у изгороди валок свежей кошенины и улеглась. Игорь Иванович полулежал, прислонившись к толстой осиновой жердине. Остальные расположились поодаль.

– Вот ты говоришь, в гимнастерке всю жизнь, – продолжил Игорь Иванович начатый на прокосе разговор. – Думаешь, Семаков на костюм не заработал. Нет, Маечка, это сложнее все. У него, я знаю, наград не густо – всю войну при каком-то фронтовом обозе. Но мы себе и представить не можем, что такое фронтовой обоз. Это адская работа и собачья жизнь.

Каждую минуту у передовой на подхвате. Ни сна, ни покоя. Разбиваешься в лепешку, а тебя еще и подначивают: «Спите, обозники, „мухи“-то до вас не долетают. Ну, воюйте, воюйте». Какую надо силу иметь, чтобы вот так все пять лет. Честно. С полной отдачей. Семаков уверен, что фашиста наш народ одолел работой, вот таким нечеловеческим, немислимым трудом. И не только фашиста. Семаков и в себе самом что-то преодолел. Раз и навсегда. Преодолел и утвердился в жизни...

Игорь Иванович вдруг замолчал. Он узнал вокруг себя знакомую, как в классе, тишину. Он видел, как бесшумно качаются, лениво метут по небу ветки ивы, как порхают птицы в ее листе. А звуков не было слышно. И еще он почувствовал, что говорит и думает уже не о Семакове, а о себе самом... Это, Маечка, каждому нужно – самоутвердиться. Да не у каждого выходит... А гимнастерка – что... Метка времени. Время на людях свои метки оставляет. Иной смахнет щелчком, как пылинку. А другому больно скovyрнуть. Скovyрнет – дырка будет. Лучше, что ли?

– Интересно как вы говорите! – с тихим восторгом сказала Майка. – Про Григория Петровича такого и не подумаешь. Добрый ведь вы...

Вместе с ее голосом Игорь Иванович услышал другие звуки и, не открывая глаз, почувствовал на себе Майкин взгляд. «Русалочка», – снова подумал он.

– А работа... Ну и что? – бойко продолжала Майка. – Все ведь работают – вы, мама, артист – наш сосед... Раз надо... А вот бывает, работают люди впустую, ни за чем. Никто не просит, не заставляет. Вот я чего не понимаю. Вон Григорий Петрович. Как к нам приедет вечером, так сразу за перемет. Крючья точит, поводки меняет, наживку выдумывает. До полуночи на реке пропадает – перемет ставит. Придет мокрый весь, на ногах не стоит. Утром чуть свет – опять на реке. А домой что везет? Слезы! Трех пескарей да одного ерша. Кошке на уху. Пацаны вон на удочку подъязков да шурят таскают, а он помешался на своем перемете.

– Так я же и говорю, Маечка! Для Семакова работа – не только хлеб, деньги, крыша над головой. Она для него – вся жизнь. Понимаешь?

Майка не понимала. Не хотела понимать. Она не могла оторвать глаз от Игоря Ивановича. Как на цветок смотрела. Лежит он – голова на жердинке, глаза прикрыты. Чуть заметный ровный загар лица оттеняют темные, нежными волнами волосы. Такие лица Майка видела под стеклом в городском фотоателье. «Не его ли снимали? – подумала. – Наверно, его». И переполнилась восторгом. И так легко было Майке, так хотелось продолжать свою игру дальше...

Вот идут они с Игорем Ивановичем по городской улице. Под ручку идут – честь по чести. Улица в воскресный день полна народу. Девчонок, женщин – как маков у них на огороде. И ни одна мимо без любопытства пройти не может. Кто украдкой, будто невзначай, а кто открыто на них глазают. А Игорь Иванович что-то ей говорит – умное, веселое. Она хохочет, заливаётся. И вдруг – знакомое лицо. Люська Попова, нормировщица из литейного. Увидела, глаза распахнула и ротик буквой «о». «Ой, Люся! – говорит Майка. – Вот так встреча! Вы не знакомы? Это Игорь Ива... Это Игорь – мой муж...»

Майка представила себе Люськино лицо и прыснула. И увидела, как дрогнули у Игоря Ивановича ресницы, и голос его услышала.

– Вот ты про перемет говоришь, а я тебе расскажу про тuesки...

Семаков мастер выделывать из бересты всякие посудины. У него дома в чулане целый музей берестяной: пайвы, корзины разных фасонов, ведра берестяные, кружки, черпаки. Но лучше всего прочего выходили у Семакова тuesа. Соседи, бывало, просят: «Сплети, Петрович, пайву». А он руками замашет и хитро так: «А не мастак я на пайвы. Куда мне – пайвы плести. Вот если тuesок...» – сам весь улыбается, светится. Но тuesки нынче не в ходу. Кому они нужны в хозяйстве? Никто Семакову тuesа не заказывал.

Но однажды пришел к нему нарочный с завода, где Семаков до пенсии жестянщиком работал, и срочно потребовал его в профсоюзный комитет. На завод чехословацкая делегация приехала.

Зашла речь о сувенирах, а кто-то возьми да и вспомни про семаковские туюски...

Отобрал он дюжину готовых в чулане и отнес на завод. Вручали их на встрече гостей в заводском Дворце культуры. Председатель пожал главе делегации руку и говорит:

– Пусть этот туюсок всегда будет наполненным и крепким, как наша с вами дружба!

– А вдруг он протекает? – лукаво спросил гость.

– А это мы сейчас у хозяина спросим. Григорий Петрович, поясни, – обратился председатель в притихший зал.

– Не потечет, однако, – тонко донеслось из задних рядов.

– Ни одной капли? – изумился чех.

– На спор хотите? – звонкоголосо и озорно отозвался Семаков.

После торжества толпа повалила в буфет. Купили две бутылки шампанского, пустили пробки в потолок и опрокинули обе бутылки разом в туюсок. До краев наполнилась посуда. Минут пятнадцать держали ее на весу. Ни одной капли не упало из семаковского туюска. Хозяин похаживал в тесном кругу, неизменную застиранную гимнастерку одергивал и подмигивал всем заразительно.

– А не потечет. Пусть хоть час ждет, не потечет.

Был в этот миг на его лице праздник...

– Вот что значит для Семакова работа, – закончил рассказ Игорь Иванович. – Что бы он без нее? Маленький, невидный, с бабьим голоском? А в работе он – Семаков!

Игорь Иванович полулежал с закрытыми глазами и вновь представлял себя в классе – уверенного, красивого, энергичного. Класс послушен ему, каждой интонации его голоса – ведь он так любит и умеет говорить, чувствовать нюансы настроения. Вот заметил – поскущтели, то тут, то там посторонние шепотки, шорох. У него как реле какое срабатывает – тотчас откуда ни возмись шутка-прибаутка, случай озорной. И все к месту. А развеселятся очень, появляются сами по себе у него в голосе лирические тона, вспоминается строка какого-то стихотворения, казалось, совсем забытого, прочитанного по диагонали в читалке на первом курсе. И такой она прозвучит свежей, перевозданной, будто он сам ее только что сочинил, как импровизатор.

У него вроде и нет любимого поэта, а если есть, то это последний, кого довелось прочитать. Но заставить слушать он сумеет и будет делать это искренне, вдохновенно, почти без фальши, так, что у самого на секунду повлажнеют глаза и застрянет крутой комок в горле...

И никогда не забывает он смотреть на себя со стороны, ну хотя бы со второй у окна парты, где сейчас, когда он говорит о Семакове, сидит уже не Надя Пёревалова, а Маечка – ее сельский вариант. И не сидит, а лежит, опершись ладонями на подбородок. И ждет его голоса, и смотрит на него.

Игорь Иванович чуть глянул из-под ресниц на Майку – так ли все? Так! Его взгляд, скользя по лицу и волосам, задержался на вырезе легкого платяца, и он мечтательно, как в полусне, подумал, что будет еще сегодня прохладный июльский вечер, пустынный берег реки с загадочными шатрами раки у воды и собранное в копны, хранящее в себе полуденное тепло, свежее сено...

– Подъем, молодежь! – раздался по берегу ликующий фальцет Семакова-старшего.

Берег ожил. Гуще загудели тугими стрелами пчелы в листе. Слетелись на голоса суетливые воробышки. Запела коса под наждаком Якова Кузьмича. Плескался у воды Николай, сгоняя с себя минутную дремоту.

Игорь Иванович тоже направился к реке. У края жердяной изгороди, что ступила прямо в илистое дно, расположились рыбаки – отец с сынишкой. Мальчонка лет десяти торопливо

размотал и забросил удочки, а отец не спеша вытащил из рюкзака надувную лодку и возился с ней, гнусава что-то себе под нос.

Да скорей ты, папка, шевелись! На середке счас самый клев.

– Не мельтеши, – добродушно ворчал тот. – Вот перекусим малость и – айда. Рыба, она, брат, по суху не ходит...

Игорь Иванович осторожно, чтобы не помешать рыбакам, зачерпнул пригоршню воды, плеснул на лицо. Хотелось продлить минуты отдыха, а не возвращаться опять к литовке.

– А и хорош у тебя квасок, Милитинушка Федоровна. После такого кваску руки сами дело делают, – снова раскатился жаворонком голос Семакова-старшего. – А что, робятки, у нас с вами всего ничего осталось – начать да кончить.

– С божьей помощью начнем да хозяина качнем, – с готовностью отозвалась Милитина Федоровна.

Она вроде и отдохнуть не присела. Худенькая, маленькая, незаметно, неброско ворошила и ворошила траву черенком литовки, перебрасываясь парой-другой фраз, поддерживая разговор. Словно бы в этой частушечной переключке и было ее отдохновение.

– Да уж придется качнуть, – солидно отозвался Николай, пристраиваясь с литовкой вслед за отцом.

Игорь Иванович подумал, что никогда у него с Николаем не было не то что дружеской, а даже приятельской близости. Росли по соседству, в одном классе учились до седьмого. Не ссорились никогда, даже по мелочам. Просто разными были их миры. Встретятся, поздороваются, а говорить не о чем. Будто условились раз и навсегда: ты мое не задевай и я твое не буду. А вскоре и совсем разминулись их тропы. Однажды Колька неудачно упал, съезжая на лыжах с крутой горы, сломал ногу. Перелом оказался тяжелым, три месяца продержали парня в больнице, и пришлось ему остаться в седьмом на второй год. Потом отпросился у отца в «ремесло» (так попросту называли тогда профтехучилища), чтобы поближе быть к машинам. Десятилетку Николай окончил, работая на заводе слесарем, когда Игорь Иванович уже готовился к защите диплома.

Вот и нынче встретились – словно на одних полатах спина к спине спали.

– Ну, здорово. Работать приехал?

– Да вот... А ты как?

– Нормально.

Игорь Иванович видит, как споро, размашисто, азартно идет впереди его Николай. Трава сухо позванивает под лезвием косы. Резко подламываются длинные стебли лютиков, тяжело и солидно ложатся поверх валка отцветшие метелки щавеля, беспорядочно сбивается в рыхлую охапку сочное разнотравье. Размеренно и круто ходят под распущенной рубахой Колькины лопатки.

На сухой траве литовка тупится быстро, и Игорь Иванович даже рад этому. Майка тоже, как ему кажется, охотно и не спеша водит точилом по лезвию.

– Косить – что, – Игорь Иванович словно продолжает вслух свои мысли о Кольке. – Косить – дело практики. У Николая другое есть – азарт, нетерпение отцовское.

– Ну и скучный он. Слова сроду не выдавишь, – тотчас откликнулась Майка. И только на мгновение, продолжая свою игру, представила себя рядом с ним: «Нет, уж этот мне не украшение...»

– Ведь они как, Семаковы, живут? – не замечая Майкиных слов, продолжал Игорь Иванович. – Отец на Кольку никогда не кричал, ногами не топал. Если что нужно было делать, брал инструмент и делал у него на глазах. Дом рубил, печи клал, крыши крыл и... что там еще? Все сам, все молча. Но так делал – глядишь на него, и руки чешутся. Вот такая у Николая была школа, такой университет.

– Что же он в Куйбышеве-то дворником... Хорош университет.

– Хороший, Маечка. Там институт авиационный. В общежитие Кольку с женой и дочкой не пускают. А квартиру кто студенту даст? Вот и пошел в дворники. При домоуправлении комнатушку выделили. Утром метет, днем на лекциях, вечером за книгами. Жена-то ведь тоже учится. Думаешь, у него сейчас в голове – травы, травы, травы? У него интегралы в голове, чертежи всякие. Когда такое зерно в человека брошено, неважно кем – отцом, дядей, учителем, – тогда все впрок пойдет: и прописные истины, и кодекс, и наука любая, в том числе и покосная. Надо, чтобы все эти нитки на какой-то стержень наматывались...

Игорь Иванович неприятно поймал себя на том, что опять забыл про «класс» и говорит больше для себя, с каким-то внутренним отчаянием. Впервые ли так? Может быть, только вслух впервые?

Появление на его горизонте отца и сына Семаковых всегда сеяло едва уловимую смуту в душе Игоря Ивановича. Он не терял красноречия, уверенности в себе, нет. Но почему-то вблизи их постоянно должен был эти качества в себе утверждать, словно бы кто-то на них покушался. Он все время боялся, что вот-вот проклюнется в нем, заявит о себе какая-то ущербность, неполноценность. И опасаясь этого, его сознание механически вырабатывало стойкое противоядие – великодушие. Он не мог себе позволить даже перед самим собой в чем-то, пусть самом малом, упрекнуть Семаковых. Тут-то, чувствовал он, и произойдет катастрофа...

– Сколько вам лет, Игорь Иванович? – по-детски наивно спросила Майка.

Он увидел, что застоялись они, – белая рубаша Николая уже метрах в пятидесяти.

– Я, Маечка, без возраста, – задорно ответил Игорь Иванович. – Сколько дашь, на том и спасибо.

«Не говорит, – про себя улыбнулась Майка. – Вот чудак-чудачок. А мне и не больно надо. Я только так спросила – вдруг Люська Попова поинтересуется».

Она косила без усталости и, казалось, одна могла одолеть весь этот огромный луг между береговыми ракетами и млеющим вдаль маревом над рельсами. Ведь у нее была мечта! Она несла Майку безудержно, неостановимо. И была прекрасна...

Уже через год у них с Игорем Ивановичем будет сын. Поначалу капризный, болезненный, непослушный малыш. Непременно даже капризный и болезненный. Потому что какая невидаль вынырнуть здорового? Это, скорее, на игру похоже. А она – сильная, выносливая, любящая мать. Она сама вырастит сына и здоровым, и послушным. Не все же ей быть на иждивении... Игорь Иванович будет только удивляться, откуда у нее, девчонки, такие способности, такая любовь... Как она все успевает и остается доброй, ласковой, красивой? «Откуда у тебя, – спросит он, – таланты такие?» – «Я их копила, – ответит она, – по капельке откладывала для тебя каждый день, всю жизнь...»

– Эй, баргузин, по-ошевеливай ва-ал, – раздалось на берегу неестественно громко и фальшиво. Это изрядно уже подвыпивший рыбак, покачиваясь и увязая в иле, стаскивал в воду свою резиновую посудину.

– Сы-ынка, – с пьяной умильностью в голосе позвал он, – подай папке опарышей и удочки. Вот, добре! Вся она сейчас, рыбка, наша будет, – и затаил снова дурашливо на непонятный мотив: – А рыбаки-и ловили рыбу-у...

Косари остановились – кто выкурить папиросу, кто подточить литовку или приложиться к бидончику с квасом, накрытому от солнца пучком травы.

Майка убирала под платок выбившиеся волосы. Загорелые ее ноги высоко обнажились под коротким платьицем. И поднятые над головой руки, и вся ее ладная, крепкая фигурка были словно бы сродни окружающему – уже недалеким трепетным осинкам, мареву на синем горизонте и самому щедрому, улыбчивому полдню.

– Расскажите что-нибудь еще, Игорь Иванович. Про себя. Что вы все про них да про них, – попросила Майка.

А он, глядя на Майку, радуясь ее близости и доступности, все старался ухватить какую-то мысль, засечь, не потерять, потому что казалась она очень нужной, что-то важное объясняющей в его отношениях с Семаковыми.

Почему присутствие Семаковых мешает ему оставаться самим собой, быть, как в классе, – интересным, находчивым, сильным? «Почему? Почему? Почему?» – жарко вжикала литовка по сухой траве.

Майке нравилось слушать Игоря Ивановича, смотреть на него, а думать о своем. Сейчас она вдруг решила, что надо непременно познакомить его с бывшим соседом – артистом драмтеатра. Вот тоже умный человек – большой, добрый и беззащитный какой-то. Стучит, бывало, вечером, под мышкой и в руках кульки, бутылка вина початая. «Спасайте, – говорит, – друг мой Маечка. Меня опять одного оставили. С ролью. Я с ролью один не могу – она надо мной издевается». Проходит на кухню, нависает над столом, роняет кульки с пряниками, свертки с бутербродами, ставит вино, а увидев дремлющего на табуретке Виктора, скучнеет и почему-то говорит извиняющимся голосом: «Я, Маечка, тихо».

И вот однажды он придет и увидит Игоря Ивановича. Он, конечно, не поинтересуется, как и что, а примет как должное, и они будут допоздна сидеть на кухне, говорить интересно и непонятно, а она, Майка, в комнате станет вязать шапочку или готовить распашонку для будущего сына.

– Папка-а... Утону-ул!.. – раздался от реки отчаянный детский крик.

Все увидели мечущегося на берегу мальчонку. А на середине реки, чуть ближе к противоположному, обрывистому берегу, одиноко маячила заякоренная пустая лодка. Метрах в пяти от нее по течению показалась голова тонущего, взметнулась его рука в пиджаке, раздался не то крик, не то хрип. И снова только солнечные блики заиграли на воде...

– Игорь Иванович, миленький, – потерянно запричитала Майка. – Да что же это будет-то теперь...

Но Игорь Иванович уже бежал к реке, неуклюже стягивая на ходу потную майку, обрывая шнурки ботинок.

Разгоряченный, он бросился в воду нерасчетливо, прямо против лодки, в то время как невидимое глазу, но мощное в этом месте течение успело уже отнести рыбака метров на тридцать ниже. И догнать его вплавь было непросто.

Но Майка тоже не поняла этого. Ломая руки, она то наблюдала, как с каждым взмахом руки Игорь Иванович быстро удалялся от берега, то пыталась успокоить зашедшего в плаче мальчонку.

И вдруг, когда до места, где последний раз появилась голова тонущего, осталась половина расстояния, она увидела, как Игорь Иванович перекинулся на спину и так же уверенно, ходко поплыл назад, к берегу. Крик отчаяния застрял в ее горле. Она стояла, зажав рот ладонью. Вот до берега осталось десять, пять метров. Вот, взмучив воду и увязая в илистом дне, Игорь Иванович выбрался на берег.

Майка немо смотрела на него.

– Чу-чувствую, н-не хватит сил, – стуча зубами, с трудом выговаривал Игорь Иванович. – Его не с-спасу и сам не в-выплыву... Там Колька н-наперез н-нырнул...

Несмотря на щедрый полдневный зной, его бил озноб. Длинные волосы слиплись и почти закрыли глаза. Ноги были по колени в иле, а на одной к тому же надет красный капроновый носок.

И тут они услышали плеск воды в кустах тальника, голоса и звонче всех бодрый фальцет Семакова-старшего:

– А я так прикинул: пока мы огород пробегаем, он в аккурат против нас окажется. И Колька тоже сшурупил – как раз под него нырнул. Он сейчас сто лет проживет. Парнишку-то вон перепугал.

Кроме обычной звонкости, было в его голосе, словах столько уверенной, горделивой силы, что казавшееся Майке минуту назад катастрофой вдруг враз обернулось досадной случайностью, о которой и говорить-то много нечего.

Из кустов на открытый берег выбрались Яков Кузьмич и Николай. Уронив руки на их плечи и едва переставляя ноги, плелся между ними рыбак. А впереди шел мальчонка и, поминутно оглядываясь, неудержимо всхлипывал. Семаков-старший и Милитина Федоровна замыкали группу.

Майка, обессиленная, стояла, прислонившись к дереву и закрыв глаза. Все, бывшее с ней до этого отчаянного крика, возвращалось медленно, как после потери сознания. Уйма противоречивых чувств – обида и удивление, презрение и жалость, и даже смутная радость – враз обуяла ее. Она не видела, но чувствовала Игоря Ивановича рядом с собой, знакомого и чужого одновременно.

И наконец снова, как когда-то рядом с Виктором, пробудилось и властно овладело ею ощущение бабьей обреченности, когда не поймешь, любовь это или неодолимое желание быть нужной – взять на себя чужую немочь. Но уж если взяла, то должна терпеть и прощать. И жить, и любить, и быть счастливой... А она взяла. Вот сейчас или еще минуту назад, когда он на ее глазах, перекинувшись на спину, поплыл к берегу...

Майка открыла глаза. Игорь Иванович стоял рядом, мокрый, зябко скрестив на груди руки. Его по-прежнему бил озноб.

Оглядевшись вокруг, Майка увидела брошенную на стерню гимнастерку Григория Петровича. Подняла. Встряхнула. Набросила Игорю Ивановичу на плечи.

– И нечего тебе переживать, – сказала, впервые называя его на «ты». – Не все такие... спасатели. Эх тебя всего лихорадит.

1977

ДВОЕ В ХРАМЕ

До вокзала они шли молча, додумывая каждый свое.

Старков продолжал искать веские доводы в защиту бригадного подряда токарей. Ведь все так просто: бригада заключает с администрацией трудовое соглашение и получает задание на месяц. На это задание начисляется зарплата. А между членами бригады она распределяется с учетом коэффициента трудового участия... Все рассчитано, осталось только проверить на деле. Но его, Старкова, шеф – начальник отдела организации труда, этот монументальный Кладов – сомневается в каждой запятой его расчетов. И откуда у Кладова – человека могучего, гривастого, как лев, – столько неуверенности в решениях?

А тут еще заводская профсоюзная конференция. Предзавкома предложил ему, Старкову, отчитаться о работе ДСО, так как председатель совета неожиданно заболел. Всегда нацеленный выше сиюминутных забот, он секунды три отрешенно смотрел на протестующего Старкова, пока не спустился, наконец, на грешную землю: «Д кому же еще, дорогой вы мой! Знаю, что не заместитель, знаю, что в совете НТО. Но кто же будет отчитываться? Антон Рубинштейн?» Что мог ответить на это Старков?

Впрочем, отчет на конференции – ничто по сравнению с уймой хлопот, свалившихся в связи с уходом в отпуск председателя совета НТО. Как раз сегодня собирался выкроить часа два. И как не вовремя этот Наташкин каприз, дурацкая затея с деревней!..

«Развеемся, побудем одни, – зло передразнил Старков жену. – Имеем мы право на личную жизнь?» Он снова представил ее голос, натянутый, вот-вот сорвется на визг, и намеренно зашагал шире. Так всегда: в самый неподходящий момент ей взбредет в голову какая-нибудь блажь.

Старков даже себе. не мог признаться, что, кроме всего прочего, так не хотелось ему упускать сегодняшний футбольный матч по телевизору. Он осуждал эту свою страстишку, презирал ее в себе, но каждый раз, услышав знакомые позывные, не расставаясь с книгой или молотком, присаживался «на минутку» на краешек кресла... Наташа в таких случаях недобро усмехалась и говорила, обращаясь к сыну: «Олежек, возьми у папы инструменты. Твой сломанный стульчик, а тем более папина статья могут подождать до конца чемпионата». Наташа знала, чем больнее задеть мужа – статьей для журнала «Металлург», над которой он безнадежно работает, выкраивая минуты, чуть ли не целый месяц.

Старков снова резко прибавил шаг, заметив, как то же самое невольно пришлось сделать и Наташе. Она хотела что-то сказать, но передумала и только перехватила в другую руку сумку с провизией.

Наташа уже начала жалеть, что попросила у подруги ключ от деревенской дачи. Как-то проживет эти два дня Олежек с бабой Варей? Не будет ли капризничать? Он так ждет в садике эти выходные и вот тебе на! – опять в четырех стенах да еще с бабой Варей «незадевайгаз». Взять бы его с собой, подумаешь – обуза. О сыне забыла, эгоистка. Порезвиться захотелось. Что он, этот ключ, волшебный, что ли? Спасет от кучи непроверенных тетрадей? От визита к родительнице Лени Калачева – огромной тете со сложенными на животе руками?

...Вечерняя электричка в пятницу, как всегда, была переполнена. Пристроив в ногах сумку и рюкзак, они два часа ехали стоя в толчее, гомоне и стонущих звуках гитары. В вагоне трудно дышалось, и стрелки на часах двигались вязко, словно бы волоча за собой непосильный груз. А от полустанка до деревни еще предстояло добираться на дребезжащем маленьком автобусе, который сегодня, конечно же, будет набит рыбаками, как авоська продуктами.

Набеганная тропинка, пропетляв с километр по заливному лугам, черемуховым островкам, по низкому берегу реки и лихо одолев два-три волнообразных оврага, взбежала прямо на узкий и качливый до головокружения подвесной – на канатах – мост. Сразу за мостом начи-

налась деревенская улица. Старые, вольготно разросшиеся березы осеняли почти каждый дом. Сквозь их листву, прощально освещенную закатом, дома смотрели на все с усмешливым любопытством, как и старушки у калиток, неизменно первыми говорившие «здравствуйте». А разбитые тротуары по бокам ухабистой дороги гляделись белыми и чистыми, будто выскобленные веселой хозяйкой.

У калитки, на поляне, среди поставленных на попа метровых чурбаков возился мужик. Еще издали, завидя Старковых, он не спеша уронил один, сел на него, достал кисет с табаком.

Мефодий Петрович – старожил Боровой, только и отлучался, что на войну. Работал на бывшей здесь ферме бригадиром, скотником, слесарем, когда техника пошла. Вырастил «троех», как он говорил, сыновей, выучил их, разъехались они кто куда. А Мефодий Петрович и жена его Серафима теперь на пенсии. Кормят свиней, корову держат, овец, свежим мяском балуют сыновей, летом внуков привечают. Даже при обширном и ладном хозяйстве времени у них с избытком. Вот и подрядился Мефодий Петрович для подсобного хозяйства, что в соседнем большом селе, dranku из сосновых чурбаков лущить, так, без плана, без задания – сколько налуцит, то и ладно.

С виду старик «не дюже басок», даже страшноват. Низкий лоб, сердитые светлые глазки под белесыми бровями, кирпичного цвета, тяжелое, как утюг, лицо и короткая школьная стрижка в полубокс. Но нраву, прямо сказать, овечьего.

Старковы остановились, поздоровались.

– Как жизнь, Мефодий Петрович?

– Ничего ищщо, – ответил тот. – Долущиваем, манехонько осталось. Вам жить-ворочать. Серафима! – крикнул он жене. – Принесь-ка кваску холодненького. – И объяснил уже Старкову: – Что-то грудь ныне балуёт-мается. Кваску выпью – малость отпустит.

Не то чтобы очень охотно присел Старков на поленный чурбак. А Наташа так даже хмыкнула незаметно, как она это делала, когда муж присаживался в кресло перед телевизором.

– Пойду ужин приготовлю, – сказала она. – А ты тоже не засиживайся. Не за тем приехали.

Мужчины на ее слова внимания не обратили.

– Я вот про эту, будь она неладна, нейтронную бомбу хочу тебя спросить. Она что, как дуст какой – людей изведет все равно что тараканов, а квартиры и учреждения целехоньки останутся? Это как же? У вас в городах-то что об этом слышно?

Старков усмехнулся снисходительно.

– Да уж на вашу деревню, Мефодий Петрович, одной нейтронной мини-бомбочки за глаза хватит, – сказал он, чувствуя потребность выплеснуть из себя что-то застоявшееся, мутное. – Про ядерную-то ты слышал? Так вот у нейтронной проникающая радиация в десять раз больше. Ни кирпич ей, ни бетон, ни твоя сосна смоленая – не помеха. Попадут человеку в организм эти самые нейтроны, клетки сразу разрушатся – и амба. Был человек, а стала лужа. Мокрое место в буквальном смысле. А если сразу на тебя нейтронов не хватило, потихоньку концы отдашь. Вот так-то, Мефодий Петрович. Если, например, на вашу деревню...

– Ты погоди, погоди... – болезненно сморщившись, остановил Старкова Мефодий Петрович. – На нашу деревню... Ничего ищщо! Серафима! – позвал он, – Где ты там с квасом-то?

– Да иду, иду, – откликнулась Серафима, спускаясь с крыльца с наполненным ковшиком. – Отдохнуть приехали? – поздоровалась она с полупоклоном. – А что же сынка-то не прихватили? Малины нонче, малины! Ведрами ташут, поглядишь, городские-то. А нам, старикам, все недосуг, все не слава богу. Моему вон который день нездоровится. Поди-ка, четверть квасу за сегодня перевел.

Мефодий Петрович отпил из ковшика, помолчал.

– Оставь здесь, – сказал Серафиме. И повернулся к Старкову. – Так, говоришь, лужу, значит, из человека? Мокрое место? Слыха-ал. Сказывали по телевизору.

– Да вы тут совсем образованный народ!

– А что – в городах? – переспросил Старков, поднимаясь. – Так же, как и вы тут в деревне.

– Так да не так, – возразил Мефодий Петрович. – Ну, к примеру, приехал бы к нам внучок Петька и захотел бы повывести всю нашу живность каким препаратом, потому как он у нас петухов и быков боится. А мы бы со старухой стояли и смотрели, как он этот препарат варначит. – Мефодий Петрович помолчал, потер грудь ладонью. – Ничего ищщо! В своем доме нашли бы на него управу. А на земле-планете?.. Эх-ма!

Он опять взялся за ковшик.

– Ну, пойду я, – сказал Старков, воспользовавшись паузой.

– Заглядывай когда, – уныло согласился Мефодий Петрович.

Этот дачный дом стоял в улице последним. За ним улица продолжалась пыльной лентой дороги, петляющей вдоль берега реки. Хозяева наезжали сюда не часто – картошку окучить, грибочками побаловаться, ягод на зиму заготовить, отдохнуть денек-другой. Оттого и дом имел нежилой, неухоженный вид. Не было половичка и березового венчика на крыльце, топор не торчал в чурбаке, собака не гремела цепью, не тянуло теплом из темного окошечка конюшни.

Когда Старков вошел в дом, на дворе уже совсем стемнело. Наташа молча варила картошку в мундире, мыла длинные хрустящие перья лука.

Старкову тоже не хотелось говорить. Да и не о чем было. Он нашел на подоконнике старую газету, пошуршал ею, пробежав заголовки, положил на место. В ожидании ужина решил постоять за калиткой. Вышел, обогнул ограду, миновав овраг с чуть слышным ручейком, спустился к реке.

Дневные заботы, смутное раздражение на жену, неприятный чем-то разговор с Мефодием Петровичем – все это еще боролось в его смятенном сознании, требовательно и неотвязно стучало в висках, напомидало о себе.

А у ног, на поляне, безудержно стригли кузнечики, словно невидимый оркестр пробовал, настраивал миниатюрные инструменты. А он стоял над ним великаном и боялся переступить.

Наступала покойная, звездная августовская ночь. За лесом, что на том берегу реки, еще угадывался закат: своим левым крылом счастливо упирался он в то место на реке, где ажурно и чутко висел над темнотой мост. Хорошо виднелись освещенные боковые планки перил и тонкая полоса настила. Только мост и звезды были там, вдалеке, звезды и мост...

Старков сделал несколько болезненно-осторожных шагов по звучащей траве и ступил на песчаный берег. Мысли то уходили прочь, то снова наплывали волной, словно кто-то бездумно крутил ручку настройки приемника. Сейчас перед ним лежала тихая протока – идеально чистая проекция участка неба. А за протокой, за песчаным островком тальника, если прислушаться, ворчливо, как бессонный лесной обитатель, разговаривала сама с собой невидимая река.

Вдруг Старков увидел на воде меж звезд маленькую, как звезда же, рубиновую точку. Она, мерцающая, плыла, не нарушая зеркальной глади протоки. Старков напрягся весь и гипнотически следил за ней: «Что бы это могло быть? Как же это?» Всего пару мгновений продолжался гипноз. Он поднял голову, узнал в небе сигнальный огонек незримого лайнера... Силы почти оставили его, захотелось упасть на песок и лежать долго и бездумно, закрыв глаза. Но от дома, увидел он, к берегу шла Наташа.

Она остановилась поодаль и тоже стала смотреть на воду. Не было и у него желания подойти к ней.

– Может, искупаться, – наконец устало нарушил молчание Старков. – От воды теплом тянет..

– Ошалел, что ли, – проворчала жена в ответ.

Они снова замолчали.

Что-то новое родилось в нем после охватившего внезапно все тело изнеможения. Нечто подобное случалось после первого глотка вина – вдруг наплывет необъяснимое облегчение, растворит в себе суету, беспорядочно скопившуюся внутри, и заполнит все существо, и станут милыми окружающие лица, пустяковыми заботы, и бесконечной представится жизнь.

Он подошел к Наташе и, уже имитируя недавнее раздражение, сказал прежним: тоном:

– Так что, не хочешь искупаться?

– Не дури, Старков, – обернулась к нему жена. – У нас там картошка остывает. Да и без купальника я...

– Вот беда, – снова проворчал Старков, расшнуровывая ботинки. – Кто тебя увидит? Деревня вторые сны досматривает.

Прыгая на гальках, он сбросил ботинки и носки и, балансируя руками, сделал несколько неверных шагов к воде. Вода в почти неподвижной протоке, нагретая до дна, нежилась и источала тепло. Старков осторожно тронул ногой блестящую гладь и тотчас нарушил в ней четкий рисунок неба. Звезды замерцали, запрыгали на волнах, как веселые чертенята. Торопясь и что-то напевая, он стал сбрасывать с себя одежду. Озорное нетерпение овладело им. Но прежде, чем ступить в воду, Старков оглянулся и замер: Наташа стояла нагая и, подняв руки, собирала волосы на затылке.

Только матовый свет звезд освещал ее, делая красоту тела неземной и, наверно, идеальной. Старкову показалось, что понял он в этот миг секрет древних мастеров живописи, умевших скрыть от глаз, затенить детали и черточки плоти, высветив только то, что может выражать самое идею, символ женского тела – плавность линий, совершенную округлость форм. Свет звезд оказался сейчас тем художником, который, взяв за натуру тело его жены, создал прямо на глазах нерукотворный живой портрет обнаженной женщины.

– Ты сейчас... ты... – неслышным шепотом пробормотал Старков, боясь пошевелиться. – И, ради бога, не говори ни слова.

Но Наташа уже шла к воде, приседая и вскрикивая, когда ступала на острые гальки, и каждый шаг ее, и каждый взмах руки, казалось, был символом, был верхом совершенства!

Они вместе вошли в воду. Дно протоки устилал мелкий, чуть податливый песок. Старков тотчас нырнул, нарушив тишину окрест, расплескав по сторонам звезды, жадно поплыл на середину протоки, а когда встал там, то оказалось, что вода едва достигает ему до пояса. От этого обоим стало весело. Бешено ломая сопротивление воды, Старков побежал навстречу Наташе, окатил ее из-под ладони упругой струей брызг. С восторженным визгом Наташа ответила тем же. Пенилась и клокотала вода разбуженной протоки, далеко в ночи разносились безмятежные звуки голосов; чтобы скрыться от брызг, они кидались в воду навстречу друг другу и попадали в объятия. Прикосновение рук только добавляло телам энергии, они бросались прочь и снова находили друг друга. Это походило на приступ безудержного веселья. Словно бы жизнь отвела им каких-то несколько минут, время это вот-вот иссякнет, и нужно успеть, успеть, успеть...

И вдруг – этот миг Старков не сумел уловить – он почувствовал, как рука коснулась в движении ее груди и замерла на ней. В нем вспыхнуло что-то очень давнее, забытое, таинственное и чистое, когда ток прикосновения к телу женщины таил в себе миллион вопросов и чуткая рука получала тотчас столько же ответов; когда прикосновение руки и губ настолько полно передавало чувство и вызывало ответное, что слова были бессильны соперничать с ним; когда это прикосновение, чуть перейди оно границу, обернулось бы кощунством, изменой чувству.

Стало так тихо, что, знай они язык реки, наверно, поняли бы отчетливо, что бормочет она сама себе там, за островком тальника.

Он отвел руку и тотчас снова коснулся груди; он долго смотрел в глаза Наташи, веря и не веря в то, что там тоже отражаются звезды; он трогал брови и ресницы ее, как незрячий –

только пальцами узнавая их; он сгонял со щек и губ ее капли воды, и они падали на грудь ручными послушными звездами.

И прикосновения заговорили так, как говорили они, когда-то давно-давно...

«Ниточка, я вспомнил, что люблю тебя».

Нитка, Нита, Ниточка – так называл он ее когда-то.

«Для чего человек создан?» – прикоснулся он губами к ее губам.

«Для любви...»

«А еще для чего, Нита?»

«Почему мы задаем себе такие вопросы в тридцать два?»

«Многие вопросы люди задают себе поздно».

Они смотрели друг другу в глаза и чувствовали, что глаза их неземные, нет, не то слово – не обыденные, они часть окружающего их мироздания, как звезды, как река над ними и вокруг них.

Обнявшись, они вышли не на свой берег, а на противоположный, к темной стене тальника. Узкая полоска теплого пляжа звала, тянула их к себе, и зову этому нельзя было противиться, как невозможно противостоять течению реки или грядущему рассвету.

Минуту они лежали, слушая дыхание друг друга и все учащающиеся удары сердец.

– Прости меня, Старков, – жарко и неслышно выдохнула она. – Прости меня, милый... пожалуйста...

– Тс-с-с... – не дал он ей договорить.

Ворчливо и отрешенно совсем рядом что-то бормотала река. Звезды снова густо усыпали успокоившуюся гладь протоки.

Еще стояла ночь, но уже где-то подспудно рождалось утро...

Поднявшись от берега протоки к дому, они, только минуту постояв в раздумье, повернули прочь от калитки и пошли по белеющей в ночи, укатанной телегами и грузовичками дороге вдоль деревенской окраины. Справа чернели молчаливые спящие дома, по-вдовьи чутко дремали кусты черемухи, воздел к небу свою длинную шею колодец-журавель, словно без брызг и всплесков черпал в светлеющем уже небе чуть подтаивающие льдинки звезд. А по левую руку от них тянулась длинная, в две параллельные жердинки, изгородь с поперечными столбиками между ними и большой аркой-воротами посередине. Казалось, будто эти ворота и столбики, в молчаливом согласии, взявшись за руки, наивно преградили путь к деревне медленно, как танк, идущему черному оврагу, десанту кустов по его бокам и черной рати лесной пехоты, наступающей по всему фронту за небольшим полем. И каким же трогательно-наивным выглядело это молчаливое единоборство хрупких и тонких жердочек с темными силами леса! Тишина стояла вокруг. И таяли звёзды. М все ждало, что вот-вот проснётся где-то в листве первый несмелый птичий голосок...

– Ты чувствуешь, Ниточка, как все целесообразно в храме природы? Одно без другого существовать не может.

– Не всегда, Старков, не всегда. Мы вспомнили тот май, когда любили друг друга. А сегодня он повторился. На миг... Вот и все.

– Да-да, как все влюбленные, мы идеалисты: мир только в нас самих, вне нас нет ни мира, ни его совершенства. Но, Нита, я не о том сейчас. Ведь целесообразность, завершенность мира природы – это образец для нас, людей! Молчаливый и вечный. Во мне самом все ли так гармонично? Я вот думаю, откуда моя суета? Мне кажется, что кто-то помимо меня и лучше меня знает полезность и необходимость того, что делаю я, расставит все по местам, приведет в нужную систему. Во мне самом! В моих чувствах, желаниях, сомнениях! Но так ли это, Ниточка? А что если наш монументальный Кладов просто трус? И председатель месткома только приговаривается, что решает глобальные проблемы? Почему должно быть им виднее? А сам я что же?

Сам я кто? Не правильнее ли будет заставить меня самого искать свое место в мировой целесообразности?

– Ты это к чему? – спросила Наташа отрешенно, вдруг ощутив прохладу и остро почувствовав потребность в тепле его руки, в его плече рядом со своим.

Как-то торопливо пришел рассвет.

Мигом слиняли, стаяли звезды. И поле приняло серый, будничный вид.

Впереди них, позванивая боталами, медленно брело стадо. Парнишка-пастух волочил по земле длинный кнут.

Наташе стало холодно. Что-то рушилось, чувствовала она, что-то ломалось. И не доставало сил противиться крушению. Почему-то казалось оно неизбежным. Вдруг вспомнился Олежек, оставленный в городе со старушкой-нянькой, куча ученических тетрадей, старковская статья... И ей показалось, что он, Старков, перед всем этим постыдно капитулирует, прячет голову в розовые кусты какой-то ненужной философии.

– Ты мудрствуешь, Старков, – со слезами в голосе сказала она.

Стадо уходило все дальше, размеренно и ритмично пыля.

Услышав другой, изменившийся голос Наташи, Старков удивленно глянул на жену. Взгляд длился миг, но он просветленно увидел сразу всю ее с ног до головы – в стареньких сапожках со стоптанными каблуками и сломанным замком, в платье с самодельным швом на талии, увидел руки ее, зябко охватившие грудь, так что кончики пальцев покраснели от напряжения, сжатые губы увидел и что-то детское, капризное в них, не различимое им раньше.

«Да ведь это жена моя! – пронзило его жалостью и любовью к ней. – *Это моя жена!* Ей холодно и тоскливо».

Старков изумился: как мало, оказывается, надо слов, чтобы так много сказать: «*Моей жене холодно!*»

1979

ДАРСОНВАЛЬ

Моему Нинуленьицу

Когда в рекламном проспекте Анна Петровна прочитала о грязелечебнице Дарсонваля, на нее напахнуло чем-то далеким и неуловимым памятью. Повяло будто бы знакомым, а откуда – не вспомнить, не угадать. Но она уже решила бесповоротно: раз ей все равно, где провести вдруг подаренные судьбой десять свободных дней, то пусть это будет грязелечебница Дарсонваля. Ее пояснице, то и дело о себе напоминающей, суксунские иловые грязи не мешают.

Собираясь, она вдруг вспомнила – что-то будто ее толкнуло – о папке с рисунками и этюдами молодой училищно-студенческой поры. Пошла в кладовку, взобралась на табурет и осторожно, чтобы не спугнуть многолетний слой пыли, достала ее с самой верхней полки, что под потолком. «Не ахти какая тяжесть, – решила, не развязывая тесемок. – Приеду на место – разберусь».

Автобус, что привез Анну Петровну к остановке «Грязелечебница», был на этот час последним. Он деловито высадил в освещенную желтыми деревьями осень, кроме нее, еще нескольких поздних пассажиров, которые тотчас канули в темноту, и, скрежеща железом, сомкнул двери.

От остановки к манящему огнями зданию грязелечебницы вела выложенная плиткой и слегка восходящая дорожка.

Ее комната была на двух отдыхающих, но вторая кровать оказалась свободной: грязелечебница в последнюю декаду сентября, похоже, сама отдыхала.

Не включая света, Анна Петровна подошла к большому окну и отодвинула штору.

Одинокий фонарь освещал задний двор семиэтажки, окаймленный решетчатым забором. Ничего примечательного: куча щебня, неровная горка ржавых труб, почти игрушечный экскаватор с понуро опущенным ковшом, такой же ненастоящий грузовичок... Но дальше, за оградой, чудесным контрастом восходили к небу сосны. Их сливочные стволы светились до самых верхушек кроны и были одинаково наклонены от опушки к чаще леса – как будто в изящном полупоклоне. Вот-вот приподнимут свои шикарные волконскаитовые шляпы на манер мушкетеров Д'Артаньяна.

Что-то заставило Анну Петровну смежить глаза, и перед ней тотчас возникла картинка...

Она включила свет, бросилась распаковывать чемодан, достала со дна его папку и принялась лихорадочно перебирать разноформатные листки ватмана и картона. Вот! На розовом покрывале кровати лежал стародавний, писанный маслом, этюд: освещенная солнцем опушка соснового леса. Молодые, еще неокрепшие сосны склонили кроны в полупоклоне..

Да не вчера ли это было?

...Она выдавила на палитру весь тюбик охры золотистой, а ее все было мало, и она велела Володьке принести другой из запаса. Нетерпеливо объясняла, как найти ее чемоданчик в отрядной кладовке, как открыть замок «с секретом», достать завернутые в тряпицу краски.

«Дарсонва-аль! – вдруг осенило ее. Летний месяц в пионерлагере железнодорожников. Канувшее в лету мгновение юности!»

Слепым случаем оказалась Аня вожатой в пионерлагере, что привольно расположился на чистых полянах хвойно-лиственничного бора близ деревушки Дарсонваль, ни прежде, ни затем на ее пути не встречавшейся, не знаемой ранее и прочно забытой потом.

(Дарсонваль... Откуда забрело на Урал это французское имя? Может, по той же оказии, что и Фершампенуаз, Варна или Париж, угнездившиеся близ Магнитогорска?)

Аня мечтала тогда о художественном училище и витала в облаке непреходящего творческого возбуждения.

Рисовать она любила с детских пор, а в школе ее сильно взбудорила своим вниманием учительница Вера Владимировна, то и дело оказываясь у ее парты и направляя нетерпеливую, но такую чуткую к оттенкам ручонку. Писание пейзажных этюдов, натюрмортов с цветами, карандашные наброски встреченных на пути лиц стало у Ани страстью, которая, верилось ей, будет сопровождать ее всю жизнь.

Пройдена школа. Мама устроила ее ученицей наборщика в городскую типографию, но на уме у девушки были только этюдник, краски, пастели, карандаши, мелки... Когда из горкома комсомола пришла разрядка на пионервожатую, директор типографии с легким сердцем «сбагрил» в лагерь почти бесполезную ученицу метранпажа.

Но и здесь, едва и наскоро отзанимавшись с детьми, она хватала этюдник с масляными и акварельными тюбиками, папку с листами ватмана и картона, находила укромный уголок и затевала очередной этюд.

В столовой, на каком-нибудь спортивном состязании или пионерском сборе она сидела в сторонке с доской, на которой был приклеен лист, или просто с блокнотиком и набрасывала бесконечные профили лиц, фигуры, плечи, прически... Вечером, когда лагерь угомонится и сквозь сливочные сосны к двухэтажным корпусам пробьется далекий закат, она ловила акварельными мазками его отблески на стволах сосен, почти фиолетовой коре елей и шегольском наряде рябин.

Добровольным пажем был у нее Володька, тоже вожатый из старшего отряда – худой, нескладный и вечно как будто всему удивляющийся юноша. У него было никак не поддающееся Аниному карандашу лицо. Вернее, надо сказать, лицо-то было ей доступно, а вот глаза... большие, чуть навывкате, светло-голубые в крапинку. Они подолгу на нее смотрели, но уловить и передать бумаге их выражение она не умела. И это обстоятельство было вечным поводом ее брюзжания и капризов. Тем более, что поводов было предостаточно. Володька вечно где-то что-то оставлял, следуя за ее перебежками, и Аня, хватившись то мелков, то нужного тюбика, то штихеля, не церемонилась.

– Эй, ты, разиня в крапинку, где посеял мой капутмортuum?

Володька сначала долго смотрел на нее, словно бы получив на то разрешение, и вспоминал, что собой представляет этот капутмортuum, а потом срывался и убегал куда-то в чащу леса.

Все у Володьки и весь он были у нее в неподдающуюся ее карандашу крапинку.

Когда однажды Володька взял да и поцеловал ее в самый неподходящий для этого и несуразный момент, Аня сначала вздрогнула, а потом почему-то развеселилась:

– Ну ты, ухажер в крапинку, смотри, какую ультрамариновую медаль ты мне на блузку посадил.

Особенно Аня любила писать воду. Вода ее притягивала и не отпускала то прозрачностью, то неведомой глубиной, то невероятными переливами света в ее струях и бликах. Если Володькины глаза в крапинку были идеалом достижимым – стоило только захотеть и постараться, то вода... Она была неуловима кистью и так непостижима в своих цветовых выражениях, что поймать состояние удавалось только акварельному случаю, везению, импрессионистской удаче. Маслу вода была недоступна, и когда Ане удавалось-таки какое-то ее состояние передать, то она сама бросалась Володьке на шею, навстречу его несерьезным поцелуям.

Бог мой, сколько, оказывается, осталось у нее от того быстротечного лета в Дарсонвале! Картонки маслом, альбомные ватманские листы акварелей, обрывки бумаги с набросками. И что любопытно: много было потом и других, где-то писанных, не отмеченных памятью, датой, местом, событием, лицом. Даже как-то неловко держать в руках: видишь, что твое дитя, смутно что-то или кого-то напоминает, а кто это? где? как зовут? – забыто, пережито, кануло в небытие... А эти, из Дарсонваля, словно бы меченые все. Ветка рябины, упавшая на неровные

доски забора – Дарсонваль (выбрались с Володькой в деревню); клен-подросток с нежным серо-фиолетовым, даже голубоватым стволом и большими листьями-ладонями – тоже Дарсонваль (каждое утро бегали умаваться к его роднику); угол дома с прижавшимся к нему крохотным ельчонком – тоже, конечно он, Дарсонваль, корпус ее пятого отряда; профиль лица, острого, вытянутого, слегка шаржированный – конечно, Дарсонваль, ее Володька в крапинку. Еще и еще – Дарсонваль, Дарсонваль, Дарсонваль, узнаваемый, милый, неповторимый. Уже все розовое покрывало кровати усеяли разноформатные этюды, а она находила в папке еще и еще. Масляно-акварельные плоды того промелькнувшего лета словно бы сами просились в руки.

Анна Петровна смотрела в окно на освещенный фонарем задний двор, на склонившиеся в полупоклоне сосны – сколько им было тогда, этим зеленокудрым молодцам? – и было странно хорошо, светло на душе, теплые очистительные слезы текли по ее щекам. Ведь был же, был и на ее улице праздник – с таким странным нездешним забытым названием!

«Ну, здравствуй, Дарсонваль!»

Утро, завтрак, новые знакомства, кабинет врача, потом процедурные кабинеты – все это превратило вчерашнее видение в сон. «А был ли мальчик, – вдруг мелькало в ней, – а может, мальчика-то и не было?».

Только после ужина выдалась час-полтора свободного от процедур времени, и Анна Петровна вышла на свет уходящего дня, стараясь воскресить в памяти обрывки вчерашнего воспоминания.

От корпуса, его заднего двора уходила в негустой лесок асфальтовая дорожка. Матерые стволы сосен, берез и елей вздымали кроны высоко в ультрамариновое небо. Между стволами все было усеяно молодым древокустарником среднеуральского клена. Его трехпалые продолговатые листья горели охра-золотистым огнем. А среди этого «пожара» то тут, то там вспыхивали затейливые перчатки рябин – то ярко-красным кадмием, то кадмием оранжевым, то желтым. Зато травь «пожар» как будто не коснулся: она выстелилась зелено-коричневым ковром (на палитре надо мешать желтую с черной), по которому только прошла-наследила желтым, красным, оранжевым капризная красавица-осень. Все это было недвижно и ненастояще – как во сне.

Анна Петровна не находила взглядом ничего от прежнего Дарсонваля, как будто он был и остался только в ней самой и на ее этюдах, по-прежнему устилавших розовое покрывало незанятой кровати.

Справа от дорожки сквозь листву просматривались задворки и крыши селения. Параллельная любопытных изб как бы раздвинула листву, но и они ничего не напомнили ей из прошлого. Их подновили, как могли, нынешние хозяева-дачники, но дорожка пробежала мимо. Зато между избами-аборигенами стояли бело-краснокирпичные особняки за такими же высокими бело-красными заборами. У ворот сторожились иномарки, за воротами гремели цепями псы, за много шагов чуя приближение чужака и начиная метаться в лае.

По узкой дорожке то и дело шмыгали машины красно-белых дачников, разгоня по сторонам сухую сосновую хвою и заставляя редкого прохожего жаться к придорожным кустам.

Ничего было не узнать. Не было никаких следов ее Дарсонваля. И вдруг взгляд упал на деревце с почти фиолетовым стволом двухладонного обхвата с нездешними желто-красными листьями-ладонками. «Батюшки, клен! Да уж не ты ли это?» – картонка с тоненькой веткой деревца-подростка, помнится, лежит среди других на розовом покрывале.

Канадских кленов на территории лагеря росло всего несколько. Аня с Володькой знали их наперечет. Один – тот, что она рисовала однажды утром, когда на его широких ладонях плавали блики солнца, никак не давая ей поймать на палитре нужный цвет, – рос в двух шагах от родника. Был тогда послеобеденный «мертвый час». Своих пионеров они с Володькой оставили беситься в спальнях верхних этажей и ушли к роднику, где была прохлада. Сейчас солнце слева, значит, родник, если это тот самый клен-подросток, будет теперь у него за спиной.

Анна Петровна отвела рукой тяжелую желтокрасную ветку, шагнула в лес – и действительно, в двух шагах, как чудо, возник перед ней родник. Это был не тот обихожанный лагерный родничок со скамейкой, исписанной перочинными ножиками пацанов, и железным банным черпаком на цепочке. А была на месте родника колонка с краником. Краник был полузакрыт, и из трубы неслышно текла тонкая струйка, падала в деревянный желоб и убегала куда-то в чашу леса.

Анна Петровна подставила ладони. Вода была холодной и с привкусом, который тотчас вспомнился ей – пресно-солончатый, к которому, чтобы напиться, надо было привыкнуть. Помнится, они с Володькой больше брызгались, чем пили эту «лечебную» воду.

Теперь уже ноги сами понесли ее к корпусу пятого отряда – туда, где он был в ее Дарсонвале. Надо было взбежать по утоптанной дорожке между молодыми елками на взгорок, пересечь площадку с волейбольной сеткой и скамейками по бокам, свернуть направо...

Площадки не было, густо и чащобно росли деревья, но она помнила направление. И невольно прислушивалась: не донесутся ли голоса распалившейся ребятни? Но тишину и неподвижность леса нарушало только чуть слышное падение листьев.

И вдруг среди зарослей она увидела синее облако. В лесу уже слегка смеркалось, и облако походило на недвижимый, словно замерший, дым костра. Бездумно, как сомнамбула, она пошла на этот костер, чувствуя себя единственной крупницей реальности в недвижимом мире сна. А дым, не рассеиваясь, стал обретать очертания ее пятого корпуса. И правда, вспомнила она, все корпуса в их пионерлагере были окрашены светлым ультрамарином. Еще шаг-другой, и Анна Петровна не поверила глазам: перед ней стоял синий двухэтажный дом с верандой – корпус ее пятого отряда. Но теперь он был необитаем и страшен, смотрелся прибежищем бременских музыкантов. Высокие сосны и ели подступили к нему вплотную и дико обнимали стены своими темно-зелеными лапами – в двух шагах пройдешь и не заметишь этого прибежища лесных духов. Некогда красивое здание цвета полуденного неба было полуразрушено и являло взору все свои раны и язвы, нанесенные ему временем и небрежением. Обвалился второй этаж веранды. Окна были незрячими, а из проема одного из них торчала обгорелая балка – наверное, шалили с огнем теперешние подростки. Опавшая кое-где штукатурка стен обнажила охристую дранку – как ребра некогда живого и здорового динозавра...

Анна Петровна стояла как вкопанная: так вот какими глазами смотрит на нее из прошлого ее далекий и солнечный Дарсонваль!

Она повернула голову вправо – там метрах в двадцати стоял корпус Володькиного первого отряда. Он и теперь стоял, едва различимый в чаще елей, таким же замершим синим облаком. Анна Петровна разглядела только крышу: по почерневшему ее шиферу, как большие ночные жабы, расселись кочки мха...

В стороне виделись теперь еще строения, за ними еще... Лес оживал видениями, но сумерки падали так стремительно, что Анна Петровна не посмела шагнуть дальше. Она вернулась к колонке-роднику, потом к повзрослевшему клену и вышагнула на асфальт.

Теперь лес за спиной клена виделся ей темной и страшной небылью. Кануло все и пропало. «Дарсонваль, Дарсонваль... Ты был или ты приснился мне? И найду ли я теперь на розовом покрывале твои реальные следы?»

Последней в этот день процедурой была у Анны Петровны грязевая подушка на поясничную область. Прежде грязями ее никогда не пользовали. Молоденькая сестричка, улыбнувшись, назвала номер кабины.

– Раздевайтесь, я сейчас.

Анна Петровна сняла и повесила халат, проверила, хорошо ли собраны наверху головы волосы, достала из пакета полотенце и выжидательно присела на краешек кушетки: как быть с плавками, она не знала.

– Совсем, совсем, – услышала она за спиной по-доброму смеющийся голос. Сестра поставила на кушетку таз, двумя ладонями зачерпнула из него черной жирной массы и положила кучкой посреди кушетки на холщовую простыню. Потом еще и еще.

– Ложитесь спиной, – сказала и, подняв черные от грязи руки, деловито глядела, как Анна Петровна, внутренне ежась и прячась, неловко опускалась поясницей на эту грязь, тотчас горячо и влажно охватившую ее.

Она лежала, вытянувшись, на кушетке. Сестра неспешно завернула над ней полы свисающей холстины, накрыла, всюду подоткнув, красно-белым байковым одеялом и ушла.

Анна Петровна увидела высоко над собой конический купол зарешеченного и застекленного черного неба. Она закрыла глаза и оттуда, сверху разглядела себя маленькой красно-белой мумией или коконом бывшей гусеницы, и из черной высоты зазвучала на нее музыка, словно бы ее отпевали в каком-то пустом, высоком, зарешеченном сверху храме.

Уже было такое когда-то – однажды, дважды. Она была вот такая же беспомощная, вся в чьей-то посторонней власти. Но вот только сейчас пришло к ней ощущение, что едва ли и не всю свою жизнь прожила она словно бы добровольно спеленутой невидимой холстиной. Недолго, всего мгновение порхала по божьему свету бабочка...

После училища и института было замужество. Оно пришло событием безудержно-влекущим, не считающимся ни с чем в ее прошлом. Куда-то заброшены были папки, альбомы, краски и кисти, Они были рядом, так близко, что всегда можно было вернуться к ним. Но уже обуяла молодая, тоже безудержно влекущая, семья. Вечно занятый муж, каждодневная рутинная работа в школе учителем черчения, быстрое и довольно легкое рождение дочери, потом тяжелое, мучительное появление сына...

Ах да, вот где она пережила острое ощущение спеленутой беспомощности, которое и потом, оказывается, никогда-никогда навовсе не оставляло ее.

Этот её новый мир, обыденный и притягательный, как измена, был совсем не похож на то дарсонвальское лето. Оно порхало само по себе, сначала манящее и иллюзорно доступное, потом удалившееся, почти неразличимое; и наконец кануло навсегда.

Несколько раз Анна Петровна доставала этюдник, брала с собой на семейную прогулку, потом на дачу, выкраивала время, чувствуя за спиной то снисходительное терпение мужа, то бесцеремонное, но на цыпочках, любопытство детей. Но ужас, ужас! Какими беспомощными, закоснелыми были ее руки! Ее глаза, ее душа видели, хотели, чувствовали, а руки... Они были чужими ей, боялись и не узнавали красок. Скомкав очередной лист, разорвав надвое картонку с этюдом, Анна Петровна, извиняясь за минутное безделье, возвращалась восвояси.

Но были-таки минуты, когда руки словно просыпались. Это случалось на уроках в вузе, где Анна Петровна уже долгие годы вела рисунок. Они вдохновлялись неожиданно для нее самой, когда она оказывалась над чужим наброском, в котором вдруг что-то узнавалось ею. В беспомощном, еще не знающем оттенков и пропорций. Но было в этом карандашном уродце знакомое ей молодое желание постичь и освоить – в каждой линии, в каждом штрихе. И руки вспоминали это! Они брали карандаш или мелок и одним-двумя неуловимыми движениями что-то меняли в рисунке – и это было как озарение, как наитие. Она видела, что рисунок оживал. (Господи, да не было ли это возвращением к ней Дарсонваля!) Анна Петровна нехотя отдавала карандаш и, счастливая, как освободившаяся от куколки бабочка (да, да – как та девочка из Дарсонваля!), шла-летела к другому рисунку. Редко какой урок обходился без такого вот подарка. Теперь она знала: подарка Дарсонваля!..

...Пришла сестричка и с деловитой улыбкой распеленала ее.

Потом она, счастливая, долго-долго стояла под прохладным ласкающим душем.

ИЗЪЯН

*Внукам Олегу, Антону, Федору,
Даниилу и Филиппу*

1

Толпа у сарая на покосной заимке Парфению опасной не казалась, но он таки остался в лощине, а на разведку послал Коляна.

– Поди, братан, порасспроси этих, чем там, в деревне, пахнет.

А сам, дожидаясь, курил в рукав. Он даже какое-то время и смотреть перестал в ту сторону. «Счас придет Колян, скажет, что к чему». Как вдруг услышал крики, и среди них один голос резанул:

– Господин охвицер, красного сымали!

Парфений затаил дыхание. Цигарка коснулась ваты на рукаве – запахло паленым. Парфений раздавил окурочек пальцем в траве. Глядел во все глаза.

К толпе из сарая вышел офицер. «Ма-ать твою береби! – ахнул Парфений. – Это как же я догадался Коляна послать, а не вместе!»

Сначала было тихо. Видно, офицер спрашивал Коляна и толпу: кто таков, откуда и зачем.

Потом опять загалдели и выделился голос:

– Да знаю я его! Колян это из Махаевки. Он с брательником давно у комиссаров ошивается.

Опять галдели. Офицер цыкнул на толпу. Слушал, наверно, Коляна. Что говорил Колян, Парфению не было слышно. А потом толпа взъярилась. Коляна повалили, стали пинать. Офицер руки-ноги не пачкал, смотрел, как зверели. Потом ушел в сарай. Сразу стихло. Коляна, заломив и связав руки, отволокли к стене. Утомонились. Смех послышался. Бытовая перебранка. Скоро костер запалили – смеркалось уже, и дождь бусил.

А у Парфения под фуфайкой колотилось. Ждал. Башка работала как часы. «Это же захаровские подкулачники, мать твою береби! На их самих и напоролись».

Парфения с Коляном Кумачев послал разведать, что делается в Захаровке, правду ли говорят пришлые, что там буза, затеянная кулачьем. На трудный случай выдал гранату, погрозив при этом Парфению острым белым пальцем. На Парфения он полагался. Парень головастый и без дури.

Кумачев служил на станции путевым обходчиком. Держался особняком. Говорил доморощенными афоризмами. Короткие подстриженные усы и короткую же челку налево держал в холе. Когда на станции зародилась красноармейская дружина, как-то незаметно и сразу стал ее командиром. Новоприбывших на станцию и поставленных смазчиками Парфения с Коляном – деревенщину – взял под свое крыло. Самогона он не пил и друзьям не велел. «Колокольню надо держать в сухости, чтоб звон чистый был», – витиевато наставлял с первого дня знакомства.

В минуты передышки, когда за стеной затевался карточный грай, а во дворе дружинники палили по длинногорлым бутылкам фирмы Поклевского-Козелл, имитируя учебные стрельбы, Кумачев подсаживался к братьевым и делился самосадам. «Хороший самосад, Парфуша, мужика ядреным делает и стоймя держит» (Парфения он сразу за старшего признал, хотя братьевы были всего-то погодками, и обращался исключительно к нему). «А нам, друганы, надо против сволочи стоять. Нас хоть и много, пролетариев, но по ту сторону еще множе. Вот хоть Махаевку вашу взять. На вас двоих-пятерых сколько человечьего бою придется? Кулак,

известно, в сторону не смотрит, за свое кровное напралом идет. А подкулачники? Вот ты, Парфуша, со штыком в Махаевку придешь да пару-тройку на него насадишь – они и твои, всё, вплоть до бабы, отдадут. А только хвост им покажи, за пустой клочок земли, за худую коровенку так вцепятся! Не-ет, Парфуша, кто гол, тот и стоит, как кол. Ваш-то батя, к примеру, как насчет бузы?»

На эти слова Кумачева братьевья молчали: Колян потупившись, а Парфений... этот глядел на Кумачева светло и преданно. «Паровоз тогда готов идти в наше светлое завтра, когда никакая-всякая сволочь на его ходуны не липнет. Мы с вами, Парфуша, пролетарского паровоза чистильщики и бережители».

На покосе стемнело. У костра остался кто-то один. Остальные ушли в сарай – покрапывало с неба. Щели сарая светились от горевшей там керосинки.

Парфений ждал – сна ни в одном глазу. Наконец в сарае погасло. Костер шаял, то вспыхивал, то линял. Мужик возле огня лениво суетился, оправлялся, потом затих. Парфений вытащил нож из кожаных самошитых ножен, попробовал пальцем лезвие, вернул опять в ножны и пополз к костру.

Он помнил, как батяня овец кончал.

– Держи ноги, – скажет Парфению, – чтоб не брыкалась.

Голову зажмет коленями, шею с пульсирующей жилой обнажит, лохань подставит под кровяную и ножом по той жиле вж-ж-жик!

Парфений, помнится, спокоен был. Смотрел жадно. Только лоб влажным делался.

Полз он бесшумно, потому что только это сейчас и требовалось от него – ни мыслей в башке, ни дела другого.

Мужик у костра спал. Лицо его показалось Парфению знакомым. «Да мало ли...». Коляна тоже не слышно было у стены сарая. Парфений достал нож, деловито примерился. Потом резко накрыл пятерней рот мужика и, вздернув шею, полоснул ножом. Мужик даже не проснулся, не дернулся, обмяк, как пустой ватник, и хлынула кровь. Парфений возликовал внутри: более простого и легкого дела поискать! Может, зайти сейчас в сарай да всех и порешить как овец? Парфений хмыкнул: « Не дурак. Придет время».

Осторожно подошел к стене сарая. Колян зашевелился. Парфений задел его ногой: «Ну что? Идти сможешь?» – полоснул лезвием по веревкам. Колян что-то промычал, с трудом поднялся.

Добрались до лощины, залегли. Лицо у Коляна было разбито, губы и глаза распухли, говорить он мог с трудом, почти не разжимая губ.

– Уходить надо, – промычал он, кивая в сторону от сарая.

– А это на что? – сказал Парфений, достав гранату. – Далеко мы с тобой не уйдем. Счас выйдет кто до ветру и поднимет холуев.

Колян стал хватать его за руку и что-то начал говорить булькающим невнятным голосом. Сверлил Парфения живым незаплывшим глазом. Парфений отмахнулся – думал свое.

– Ты сиди тут и жди. Я сам слажу.

Не слыша больше Коляна, Парфений, нагнувшись, пошел к сараю. Мысль работала четко, как минное устройство, которому дано несколько минут. «Ты, Парфеша, одно пойми: нам с ними вместе жить заказано. У нас колокольни разные и звонят иначе. Усек? Ихний звон нашему поперек идет. Его пресечь надоть».

Подойдя неслышно, он припер дверь лесиной от костра, достал гранату, зубами выдернул чеку и, бросив в темное окно, метнулся в сторону, упал. На мгновение тихо стало, потом шарахнуло, взметнуло и Парфения словно бы волной. Бежал в лощину, не чуя ног, не оглядываясь. Упал рядом с Коляном.

– Айда теперя!

Они бежали, как слепые, сквозь стену тьмы. Позади пылало, стонало и трещало. Колян припадал на зашибленную ногу, отставал, хрипел разбитым ртом. Парфений тащил его за ватник. Темень стеной стояла. Дождь бусил. Парфению казалось, уже спасительная опушка должна... А ее все не было. За спиной что-то слышалось – Парфений отстранился от всего: добраться бы до опушки.

Когда показались деревья, Колян совсем обмяк, и Парфений едва не волоком дотащил его до леса.

Колян упал мешком. Парфений минуту стоял над ним и думал. «С Коляном ему не дойти. Будет висеть на нем, как гири. А Кумачев ждет».

Приняв решение, опустился рядом. Лица у Коляна словно бы и не было – сплошное розово-синее месиво. Один только глаз смотрел на него, и в нем стояли растерянность, мука.

– Парфеша, – заговорил Колян, не разлепляя разбитых губ. – а, Парфеша, ведь там и наши были... махаевские мужики... Федька Лычин, Прокоп, Иван Старчинский, крестный твой. Ево Степанида теперя с пятерыми...

Парфений ничего не мог понять из его бурчания. Что-то булькало у Коляна в запекшемся рту, и глаз, почти выкатившийся, перился на него.

Вдруг мелькнуло в памяти – откуда что взялось: одна напоролась они с Коляном зимней санной дорогой на пару волков, и Колян, путаясь в длиннополом малахае, вдруг скатился с саней и побежал волкам навстречу, замахал рукавами и заорал благим матом. И ведь снялись тогда волки, отстали.

Парфений смотрел на брата, молчал и примеривался, как ловчее. Потом вдруг резко накрыл его глаз фуфайкой и, размахнувшись, что было силы воткнул нож в шею Коляна. Так, что лезвие в землю вошло. Выдернул. Вытер о ватник.

А если бы слышал Парфений те последние Коляновы слова, не стал бы неверно и ватник портить, а по глазам бы, по глазам...

2

Толя Рудваль умирал. И знал об этом.

В Доме детского творчества его иначе, как Толя, не называли, хотя ему и перевалило уже за пятьдесят. Худенький, сублильный, в больших круглых очках, спасающих от сильной близорукости, вечно занятой, он был Толей для всех: и коллег-инструкторов, и пацанвы, населяющей кружки и секции Дома творчества. Толя руководил краеведческой секцией, жил ребячьими походами и писанием книги о славных революционерах братьях Сиговых – Николае и Парфении.

И вот, почти уже сладив с книгой, умирал.

Болезнь свою он чувствовал давно. Она жила в нем ноюще-опоясывающей пустотой, каждый год умерщвляя живое пространство. Он привык. Страдал молча, в больницу не шел, от страхов жены Натальи отмахивался и не любил смотреться в зеркало на заостряющиеся скулы.

Книга подвигалась по ночам. Днем и вечером между делами и суетой он перепечатывал написанное на громоздкой старой машинке «Москва».

Написать книгу о братьях Сиговых его сподобил университетский приятель Гриша Сигов, внук Парфения. Теперь те университетские годы остались далеко. Гриша Сигов стал секретарем горкома партии по идеологии Григорием Николаевичем, а Толя остался Толей. И от прежнего их приятельства мало что сохранилось. Однако встречая по какому-нибудь случаю своего однокурсника, Сигов был с ним запанибрата и никогда не переходил на официальный тон – покровительствовал летописцу своей династии.

В городском краеведческом музее стараниями Толи и его краеведческой секции был собран стенд, посвященный крестьянско-пролетарской династии Сиговых. Стенд открывал суровый лик крестьянина из деревни Махаевки Антона Сигова. Но главной фигурой на стенде пребывал Парфений Антонович Сигов, прославленный командир красногвардейского отряда, возглавивший его после гибели от рук кулацких мятежников партийца-путеобходчика Кумачева.

Было на стенде и пожелтевшее от времени фото его брата Николая Антоновича, павшего геройской и мученической смертью после пыток в плену у мятежников. История его гибели в семье Сиговых передавалась из уст в уста, и везде фигурировал один-единственный снимок. Николай Сигов был снят в группе железнодорожных рабочих еще в крестьянском малахае. Смотрит в сторону, лицо плохо различимо даже от многократного увеличения и кадрирования. Но другого фото в семье не сохранилось. Зато одна из улиц города носила имя красногвардейца Николая Сигова, а брат его, Парфений, его именем назвал своего сына-первенца – отца Григория Сигова.

С книгой о династии партийцев Сиговых у Толи Рудваля дело шло споро – она была написана. Как вдруг в местном филиале областного архива он каким-то чудом натолкнулся на тоненькую папку – «Дело о крестьянском восстании». Там говорилось о гибели группы крестьян у заимки. Той самой группы, которая по рассказам Парфения, и пленила Николая, пытала и замучила до смерти. И из этого «Дела» явствовало, что тело Николая Сигова было найдено не среди повстанцев, а на лесной опушке метрах в двухстах от сарая.

Толя не мог взять в толк, как такое могло произойти? Как изуродованное, со смертельной раной в шею тело Николая Сигова могло оказаться в лесу? Официальная версия утверждает, что оно было найдено среди трупов повстанцев и только потом захоронено отдельно от общей их могилы.

Со своим вопросом Толя напросился к Сигову на прием, но был приглашен прямо домой. Он был уверен, что семейное предание без труда разрешит его загадку, и в книге можно будет, наконец, поставить точку.

В свои 54 года был Сигов моложав, лучился приветливостью и какой-то слегка грубоватой свойскостью. Совсем не походил на дедову фотографию. Не было светлых открытых глаз, а были мягкие карие. Не было и дедовой угловатости, а была мягкость рук, улыбок и движений. Все в нем располагало и в то же время было лаконично и официально.

Таким был Сигов и на этот раз. И он, и молодая его жена, которую он звал Таечкой, наперебой ухаживали, задавая необязательные вопросы, угощали коньяком с лимонными колесиками на блюде. Но худобу его и болезненный вид старались не замечать и не трогать вопросами, как что-то очень личное и деликатное – старались не переступить грань.

Потом Таечка вышла, оставив их вдвоем в кабинете Сигова.

– И что у тебя за пробледец ко мне, выкладывай, – удобно расположившись в кресле, спросил Сигов.

– Может, он и пустяковый, Григорий Николаевич, и никакой загадки не представляет... Вашего деда касается, Николая Антоновича.

И Толя выложил содержание архивной папки.

– Он как, – спросил, – в лесу-то оказался?

Ни к какой реакции собеседника он готов не был: в горле сохло, напрашивался приступ кашля, тянула-опоясывала ноющая пустота внутри. Да и что, казалось ему, за вопрос для родственника: наверняка все просто как божий день.

– Какой, говоришь, номер «Дела»? – не меняя тона и вопросом на вопрос ответил Сигов.

Перегнувшись из кресла к столу, взял из стакана ручку, ждал.

Толя листал свой блокнот и видел, как перед его глазами заходила-запрыгала нога хозяйина в синем шлепанце, до того спокойно лежавшая на колене.

Сигов записал номер небрежной почеркушкой. Нога продолжала подергиваться.

Толю долго ломал кашель. А когда он снова глянул на Сигова, что-то в нем изменилось. Он, похоже, уже долго и пристально смотрел на зашедшуюся в кашле тщедушную фигурку, занимающую всего едва ли не четверть кресла. Все было маленькое и какое-то скомканное в нем: лицо с острыми скулами, пегие волосенки, полудетский пиджачок и руки с тоненькими желтыми пальцами. А вот его вопрос Сигова озадачил.

– Тебе это зачем, Анатолий Романович?

Толе стало как-то не по себе от его взгляда и голоса. Ему послышались в нем совсем другие слова: «Ты посмотри на себя, дядя, разуй зенки: ты ведь правой ногой в могиле стоишь».

Толя почувствовал, как задержалось у него левое веко – верный признак неуступчивости, которая столько раз ставила ему в жизни подножки.

– Я историк...

Сигов словно этого слова и ждал.

– Исто-орик... – протянул он. – Штука не в том. Чей историк – вот ведь где собака-то зарыта.

Похоже, что вместо ответа на вопрос он был склонен устроить гостю ликбез.

– Историк рабочего класса, – как школяр, отозвался Толя.

– Вот. А какая история нужна рабочему классу, знает его авангард – КПСС. Перед тобой, Толя, ее представитель, законно избранный этим классом на высокий руководящий пост. Еще вопросы есть? Давай теперь по коньячку.

Говорилось это покровительственно-несерьезным тоном, который, Толя знал, в любую секунду мог стать официально-приказным, не подлежащим обсуждению. Все зависело от того, насколько хватит у Сигова к нему, Рудвалю, расположения.

Направляясь к Сигову, он не предполагал, что его конкретный вопрос вызовет дискуссию.

– Рабочему классу не любопытно знать, как погиб один из его героев? – окуляры Рудваля смотрели неуступчиво.

– Давай мы с тобой не будем спрашивать сразу у всего рабочего класса, любопытно ему или нет. Обязательно кто-то поднимет руку и доведет свое любопытство до полного абсурда. Класс, ты ведь понимаешь... Там и галерка есть, двоечники... Как это у апостола Матфея: много званых, но мало избранных. Тебя, надеюсь, не удивляет, что я вместо сочинений Владимира Ильича Ленина обратился к Евангелию? В подлунном мире, Толя, по большому счету ничего не меняется.

– Так я ведь не в класс пришел... Меня класс коньячком бы не баловал...

– Во-от. Ты все правильно сделал. Четыре тебе за это с плюсом. А мнение партии, авангарда рабочего класса, такое, – голос хозяина отвердел: – биография красногвардейца Николая Антоновича Сигова, зверски замученного кулацким отродьем, написана, многократно опубликована, выбита на памятной доске и вопросов не вызывает.

«Почему же у тебя, Сигов, шлепанец-то дергается?» – мелькнуло у Толи, но спросил он другое:

– А за что тогда четыре, Григорий Николаевич?

Сигов усмехнулся и с трудом заставил себя промолчать, не сказать то, что просилось с языка: «Высший балл, дядя, мы ставим только на поминках».

Он смотрел на Толю прямо, мягкими карими глазами. На его заострившиеся скулы, серое лицо. Только еще глаза гостя лихорадочно блестели за большими окулярами очков. Сигов мог поднять трубку, набрать номер спецбольницы и через полчаса Толя оказался бы в отдельной палате с видом на городской пруд. И профессора в белых халатах, по крайней мере, скрасили бы лукавыми процедурами его последние дни. Но Толя Рудваль, инструктор Дома дет-

ского творчества, был далеко не их контингент. Ему полагалась общая палата городской больницы.

«Партии нужна чистота социального эксперимента».

В полдень следующего дня Толя позвонил в филиал областного госархова.

– Танечка, мне бы на минуту «Дело» №32 из 43-го фонда.

Прошло довольно много времени. Трубка все молчала, в ней слышались только далекие голоса. Наконец:

– Алло, Анатолий Романович, а вы ничего не путаете? Нет у нас в архиве «Дела» с таким номером. Вы когда его смотрели?

Толя не удивился и не стал распространяться, звонить заведующему. В последние дни живые силы почти оставили его. «А был ли мальчик? – вяло усмехнувшись, сказал он вслух. – Может, мальчика Коляна в лесу-то и не было».

Вечером Наталья вызвала «скорую».

Сигову она позвонила через сутки, утром, застав его еще дома.

– Григорий Николаевич, Толя ночью умер.

– Не может быть! – услышала тревожный голос. – Ведь мы с ним третьего дня вот в этом кабинете за коньячком... Наши искренние соболезнования, Наталья Егоровна. Ни о чем не беспокойтесь: некролог, похороны, поминки город возьмет на себя. Анатолий Романович так много сделал для города. И так рано ушел. Так рано...

Положив трубку, Сигов что-то черкнул в записной книжке и пошел одеваться в переднюю. Тая вышла проводить мужа. Еще не прибранная после сна. Халатик не запахнут. Сигов секунду смотрел, умиляясь, потом не удержался, обнял жену.

– Ну ты у меня, Тайка!.. – и вышел из дома.

3

Они впервые лежали так близко друг к другу – дед и внук. И оба как-то девственно стеснялись прикосновений. Кровать была хоть и широкая, но с сеткой, которая делала их двумя рыбами в садке. Здесь, в крошечной мансарде дачи, обычно ночевали те, кому не хватило места в гостевой комнате, или кто сильно перебрал.

Сигов поднялся сюда вдруг почувствовав, что среди Семеновых кампании он – не в своей тарелке. Это новое было ощущение. Обычно его держали за мэтра, замолкали, когда говорил. А нынче... Как-то все он оказывался в стороне от разговора. «Наверно действительно лишку хватил».

– Ты, Николаич, поднялся бы, вздремнул часок, а? – сказал, наконец, Семен, близко и трезво к нему приблизившись.

Внизу сначала было шумно. Тосты кричали. Матерщинка промелькивала. «Расслабились мужики». Голос Семена выделялся – вальяжный, чуть с хрипотцой. Теперь его слушали. «Хозяин вырос».

«А что, – про себя усмехнулся Сигов, – другая жизнь – другие песни». – «Ой ли?» – неожиданно спросил чей-то тоже внутренний, но незнакомый ему голос.

Сигов лежал и смотрел на портреты.

Когда грянула перестройка... (Ой да почему грянула-то? Пришла, как время года.) У них, на Ленина, 15, все быстро встало на свои места. Здание горкома проворно заселила новая молодая чиновничья рать, которая большей частью неслышно вызрела в черногалстучной комсомолии.

Даже выйдя на пенсию, Сигов оставался в некоей негласной обойме. Его здесь помнили практически все вплоть до сухонького и подвижного «капельдинера» Борис Борисыча. А это была фигу-ура! Прежде, в расцвете лет, он пребывал в городе на слуху своим неумным новаторством. Всегда неожиданным и каким-то поперечным. Вроде бы хорошее и нужное предлагал Борис Борисыч, но расписывал в газете так, что никому бы и в голову не пришло воспринимать его всерьез. Он и прежде любил разговеться у Сигова «опалом», а теперь, когда тот появлялся неурочно, и вообще держал его за сослуживца, первым подавал руку и угощал всегда новой, модной сигаретиной.

В вестибюле администрации, на своем пенсионном посту Борис Борисыч во всеуслышание встречал в штыки любое нововведение «новых русских» и прилюдно же низкопоклонствовал перед здешними сильными мира – это была его манера бытия.

От него-то и узнал однажды Сигов, что втихую затевается приватизация недостроенного здания пекарни о двух этажах в Старом поселке. Пекарню затеяли незадолго до реформ, выполняя депутатский наказ избирателей. Но в новых условиях у хлебозавода не оказалось ни средств, ни желания возобновлять долгострой да и жители, похоже, угомонились: не до выпечки теперь. А какой лакомый кусочек для начального бизнеса: здание стоит под крышей, даже новейшее хлебопекарное оборудование уже завезено и покоится под навесом в ожидании монтажа...

Сигову достаточно было сделать несколько звонков «хлебозаводчику», который прежде, будучи членом горкома, снизу вверх смотрел на всемогущего партийного идеолога, чтобы оценить ситуацию и прежним хорошо поставленным начальственно-дружеским баритоном отстранить ближайших конкурентов. Ему не пришлось даже сильно напрягать семейный бюджет, чтобы в одночасье стать владельцем белокирпичной незавершенки, которой надобилась только внутренняя отделка.

Первым, с кем поделился новостью Сигов, был сын его Семен.

Он был уже женат. Эльвира родила ему сына Костьку, а Сигову-старшему внука, семейного любимца и избаловника. Семен вместе с женой работал в конструкторском бюро завода.

Отца выслушал без эмоций, глядя на него прямыми светлыми глазами. «И от кого достались?» – думал иной раз Сигов и взглядывал на дедов портрет.

– Тут надо обмозговать, – сказал.

А через день-другой Сигов сына не узнал.

– Значит, так, Николаич (он впервые назвал отца уменьшительным отчеством и больше по-другому уже не называл. Сигову это не показалось ни странным, ни обидным – увиделась в сыне взрослость и самостоятельность «Дай бог, дай бог!»).

Семен сразу взял дело в свои руки. Сигов с Таисьей только диву давались: откуда что взялось. И полгода не прошло, как Семен зарегистрировал частную фирму «Сигов и К». Семейным бюджетом теперь распоряжался сам – Николаич идеолог, его мудрое веское слово слушали, что называется, стоя. Им же, Семеном, решено было взять кредит, чтобы установить оборудование. И в Старом поселке города, вечной неухоженной окраине, появилась своя пекарня, а при ней и хлебобулочный магазин, куда тянулись за хлебом и выпечкой не только местные жители.

Секрет популярности пекарни был не в Семене и не в Сигове, а в Мишке Макарове, которого однажды почти за руку привел в их дом Костька. Мишка приходился братом Костькиной девчонке-однокласснице, за которой их избаловник то ли смехом, то ли всерьез ухлестывал. Это был высокий бритый наголо молчаливый детинушка – слова не вытянешь. Два года назад он отслужил в армии и теперь неприкаянно маячил по городу в поисках работы. Словно бы ждал команды своего ротного Хабибулина. В стройбате состоял он пекарем, другого дела не знал и ни в одной конторе долго не задерживался.

Семен, помнится, брезгливо оглядел детинушку, не приняв будто бы по рассеянности его протянутую белую, как недопеченая сайка, большую руку. Выслушал Костькины восторги по поводу его умения печь домашние хлебы и решил попробовать: «Чем черт не шутит, когда бог спит».

Мишка как пришел тогда в новую пекарню, так вроде бы из нее и не выходил – дневал и ночевал у печи, не снимая своего белого длиннополого фартука. Когда и где только успевал он брить свою гладкоствольную голову? Хлеб у Мишки выходил ну прямо ни в сказке сказать, ни пером описать – всегда теплый, пахучий и с хрустящей корочкой. А какие венские булочки вытворял Мишка! За ними с семи часов утра выстаивалась у булочной веселая и разновозрастная очередь. Иначе как макарским этот хлеб в городе не называли, хотя самого Мишку никто, похоже, и в глаза не видел, а если бы увидел, ни в жизнь бы не поверил, что этот бритый увалень и есть тот самый хлебодел Макаров.

Фирма «Сигов и К» процветала. Сиговы переехали в пятикомнатную квартиру в трехэтажке, возведенной новыми русскими по индивидуальному проекту. Переезжали летом. Когда дошла очередь до портретов, Семен сказал, как о давно решенном:

– Ты, Николаич, в ум не бери и не подумай чего плохого: время-то какое на дворе? Пусть поживут пока на даче.

Таисья, так та прямо обрадовалась, помнила, как однажды, принимая нужных Семену гостей, словно бы невзначай завешала портреты предков, как зеркало при покойнике. А Костька не заметил.

Сигов тогда внешне остался спокоен и державен, слова не сказал ни за, ни против, но про себя Семену порадовался: «В отца пошел». Хотя у него самого такой бы смелости не достало.

Так и оказались его героические дедовья в дачной мансарде над кроватью с сеткой.

Расплатившись с кредитом, Семен затеял за городом дачный особняк – не век же ездить на ветхозаветную отцову деревяшку. Виделся ему уже и «мерс», который сменит надоевшего «москвича»... Сына вот надо учить – на общие вступительные экзамены надеяться глупо. Областной центр – это крепость, которую вот как Николаича не взять. Впрочем сказать, ему с матерью тоже не мешало бы отделиться – купить двухкомнатную. Словом, деньги впереди понадобятся серьезные. Фирму «Сигов и К» настало время чистить, делать семейной. Пару тройку друганов-акционеров он убрал бы без труда. А вот как с Мишкой Макаровым быть? Если он останется в числе пайщиков, другие тоже зафурчат.

Приспело время крутого разговора – дачного мужского междусобойчика. Без Мишки, разумеется.

...Когда Николаича спровадили в мансарду, Семен взял вожжи в свои руки, не забывая подливать друганам «пшеничной». Коней не гнал, но неуклонно тянул свою линию и ближе к полуночи остался с сыном наедине.

Костька водки не пил – молод еще, но и отцовы монологи слушал вполуха. То в телек пялился, то затевал возню с рыжьи дачным котом Чубайсом. Отец сказал: надо быть – значит, надо. Скользили мимо чьи-то имена, иной раз Мишку поминали, то и дело кто-то голос повышал, а другой пытался запеть...

Когда расходились, поднялся было и Костька. Но Семен остановил сына:

– погоди, дело есть. Мы, как видишь, тут договорились, что фирму нашу сделаем чисто семейной, сиговской.

– Ну, – не понял Костька.

– Значит, и Мишку Макарова надо вывести из числа акционеров.

– Мишку? – сразу насторожился Костька.

Отец молчал, а до него доходило медленно и горячим жаром охватывало лицо.

– Пап, так Мишка же... он же наш, Мишка...

– Ты погоди, горячку-то не пори: какой он наш – Мишка Макаров?

– А я? – все так же горячая лицом, глупо спросил Костька И совсем зарделся.

– Успокойся, сын, – посчитав, что дело сделано, сказал Семен. – Ты, я, мать, Николаич, бабушка твоя – мы Сиговы все. Только в этой шляпе и дело. Мы – держатели акций, и доход – на пятерых, понял?

– А Мишка Макаров? Как эти... отец и сын Черепановы?

Семен глядел озадаченно.

– Ну, крепостные механики, паровую машину сделали.

Отец деланно и громко захохотал:

– Вот именно! Молодец. Четыре тебе с плюсом! Только он не крепостной, а наемный. – И тут же стер с лица веселость. – Ты не думай, в деньгах Мишка не потеряет, зарплату ему оставим прежнюю. А если ты, как акционер, будешь настаивать, и увеличим.

– А если я, как акционер...

– Константин, – тотчас построжал Семен, – ты знаешь, сколько их на Чехова?

– На Чехова?

– Ну да, на улице Чехова, 37, на бирже труда. Сколько их там ошивается?

– Кого? – опять не понял Костька.

– Да Макаровых твоих.

Тот ничего не понимал. Хотя смутно и страшно надвигалось на него что-то зловещее. Оно, оказывается, все время жило рядом, только не касалось его, Костьки. Он вспомнил и начал трудно осознавать фразу, не раз им слышанную из уст Оксаны и ее матери: «Эти твои Сиговы». Он пропускал ее мимо ушей, как новобранец не вздрогнул бы от первого просвиста случайной пули, еще не зная, что это пуля и что она смертельна. А теперь он словно бы услышал тончайшие нюансы ее произношения: «Эти твои Сиговы». И ему, Костьке, предстояло прийти в дом Оксаны и сказать ей и матери новость о Мишке!..

– Да как же я скажу!.. – то ли произнес, то ли про себя воскликнул он.

– Зачем тебе-то говорить? Не грузись этим, сын, – далеко-далеко услышал он голос отца. – Я сам скажу Михаилу.

Невидяще вышел он из зала и невидяще машинально побрел в мансарду деда. Как будто там еще была ему какая-то защита.

А Сигов, когда внизу стихло, задремал.

Проснулся он, когда вошел Костька, весь бледный, словно бы не в себе. Расслабил галстук и улегся – руки за голову. Задремавший было Сигов попытался подвинуться – да куда! ... От тесноты ли и неудобства, от нависших ли над ним портретов или от похмелья стало у Сигова муторно на душе. Опять заговорило в нем чье-то чужое недовольство. Он, Семен, внизу на двухспальной кровати, а его вот... Ни встань, ни повернись. «Тебе, Николаич, с матерью отдельно-то удобнее будет», – передразнил сына. Какой я ему, в самом деле, Николаич! Взял моду. Бизнесмен на готовенькое.

Но Семена рядом не было. Да и вряд ли он сказал бы это Семену. А Костька лежал рядом, лежал широко, даже не сняв штиблеты.

– Сколько, внук, от Рюрика-то до тебя минуло? – пошевелился Сигов. – Правильно. Двадцать веков с полтиной. Четыре тебе с плюсом. Как говорил твой прадедушка – ужась. А ты пойдешь в слюдяное-то оконце посмотри. Глянь на себя. И увидишь все тот же ма-аленький изъянец. Малю-юсенький такой де-факто. Думаешь, я тебе Америку открыл? Да ни вот столько! Все сильные мира про этот изъянец знают. Но приходит к ним это знание поздно. Когда они уже его заложники. Когда изъянец уже во все поры проник. И одолеть его можно только вместе с собой любимым. Нет, ты посмотри, посмотри.

Костька шевельнулся и повернул голову к деду.

– Вот вы говорите – партия успешных людей, – продолжал Сигов. – А она вам для чего?

– Ну, дед, ты даешь!

– Во-от. Это для вас не вопрос – для чего. Это для вас – семечки. Партия успешных людей, внучек, она для самой себя и есть. Они, – Сигов показал глазами вверх, на портреты, – когда начинали, тоже думали, что их партия – инструмент, а пока этим инструментом орудовали, присмотрелись, попривыкли, глянули в слюдяное-то оконце, а инструмент этот – прямо сказать, кол осиновый с курочком и мушечкой – это сами их руки и есть. И голова. И все они с потрохами ихими. Вот и у вас: успешный – значит, свой человек. А который без гроша и без царя? Да вот Мишка твой, например?

– Де-ед, – укоризненно и пораженно протянул Костька. – Ты чего?

– Да ладно. Не делай большие-то глаза, – остро глянул на внука. – Не понимает он!

С трудом повернувшись на другой бок, Сигов задремал, словно бы выговорился. И вдруг разом проснулся – кольнуло в сердце. Ему показалось – и не засыпал. А в дверную щель острой пикой проник рассвет. И вдруг Сигов почувствовал, что на тесной кровати стало свободно и, не повернувшись еще к внуку, внутренне заорал диким животным криком:

– Не-е-е-ет!

Костька изломанно полулежал-полувисел на полу. Только одна рука осталась на кровати, намертво защебив в кулаке край одеяла. Тонкая белая детская рука.

Костька повесился на галстук.

2006

АНЮТА

Дом на полустанке Якушиха ставил путеобходчик Егор Якушев году этак в 1915-м. Его сын, Яков, родился уже в новых стенах. Родителей Якова рано увезли на станционное кладбище, даже не дождалась она невесты, которую их сын, тоже путеобходчик, привез на другой год, в тридцать девятом, из недалекого поселка Красноглинного – Анюта в том же году осталась сиротой.

С войны в сорок четвертом Яков вернулся хворый. Не жил, не умирал на своем полустанке. Анюта держала мужа.

1

Яков Егорович Якушев преставился в 3 часа 44 минуты. Так показали ходики, неумолчно стучавшие в комнате над большим портретом Ленина. Они и потом продолжали себе стучать, когда Якова не стало.

Анюта которую уже ночь забывалась только к утру, понимая, что жизнь покидает Якова и держится в нем на каком-то тонюсеньком волоске. Может быть, думала Анюта, этот волосок она сама и есть – мужнина половинка. Только отвернись, смежи веки – а смертушка Яшина тут как тут.

Ей так и показалось, что на какое-то мгновение она отвела от Якова взгляд, посмотрела куда-то в себя – и на тебе. Яша уже не с ней.

И она посмотрела на ходики – 3 часа 44 минуты.

А когда часы при этом не остановились ни на миг, ни на секунду, Анюте стало страшно. Ходики ей всегда представлялись живыми – как она, как Яша, как корова Милка. Но живое ведь не может не остановиться хоть на миг... на минуту молчания?

– Яша, – позвала она. – Яша, ты что же это? Вот так ушел – и все? Ни слова, ничего? А я? – она схватила его за нательную рубаху и затрясла, потом упала, обняла собой всего, думая, что еще можно вернуть жизнь, заставить биться в нем.

Потом замолкла, прислушалась. Тикали ходики. Где-то за стеной их дома, во дворе пробовал голос петух. Муха вдруг забилась о кухонное стекло. И свои пальцы, всю себя она чувствовала живой. А Яков под ее руками, под ее грудью остывал.

– Ведь я... как же это я проглядела-то? Яков, ты что же думаешь, я смогу теперь одна? С Милкой, с огородом, с дровами? А с сеном как? С сеном? У носилок ведь четыре руки, Яша? А рыбальить? Ты же меня к своим снастям сроду не допускал. Думаешь, так можно, Яша? А если бы я? Да разве ж я смогла бы?

Вся бездна одиночества разверзлась перед ней, одиночества, невидимого миру, а живущего в ней самой. Невозможного, невообразимого в самом кошмарном сне. Не одиночества даже, а безобразной, уродливой неполноты, бессилия и ни на что теперь не годности своей. Не помня себя, она то падала на него, то вскидывалась, стуча кулачками по немой груди.

Перед ней мельтешила и мельтешила прожитая с Яковым жизнь. Оказывается, Яков всегда был рядом, едва ли не в ней самой – доила ли она Милку, месила ли тесто для пирога, сбивала ли сметану в масло или ехала гостевать. Его мужское, надежное жило с ней, хоть и немощен он был из-за угнездившегося в нем ранения.

– Яша-а-а... – заголосила Анюта. – Яшенька-а-а, соколик мой ненаглядно-ой.

Изнеможенная она упала рядом с ним. И перестали стучать ходики, замолкли звуки за стеной, угомонилась муха...

Сколько времени прошло, когда услышала Анюта за окном ясный и громкий голос соседа Тимофея Поткина:

– Анюта! Спишь ли чо ли? Слышь, Милка-то заревелась вся.

Баба Анюта вскочила, словно ее застали за чем-то постыдным. Ей показалось, что голос этот поткинский уже давно слышится ей за окном.

Стоял день, солнышко поднялось и купалось в реке, рылись куры за оградой, Милка мычала – просилась на дойку.

– Иду-иду, – отозвалась Анюта, осторожно оставляя постель и Яшу. Она и всегда вставала раньше Якова. И нынче мелькнуло: пусть полежит – не война. Пусть в последний раз и навсегда.

И начался ее первый день без Яши.

Хоронили Якова на погосте станции Урай, в трех с небольшим километрах от Якушихи – начальник выделил дрезину.

На ее платформе, вокруг гроба, сколоченного Тимофеем Поткиным, уселись двенадцать человек провожающих. Анюте оставили место у изголовья, рядом с пирамидкой, наскоро сваренной из железных прутьев и увенчанной звездой, но она все мешкалась, стараясь ничего не забыть и всех рассадить.

Яков лежал строгий и молчаливый, каким и был всегда. Только в этом синем бостоновом костюме, всего-то раза три надеванном при жизни, его мало кто видел, и эта необычность выделяла его среди провожающих. Он, как и все, терпеливо ждал, когда Анюта закончит свои хлопоты, взойдет, подхваченная несколькими руками, на платформу и, поправив черный свой платок, присядет на лавку у изголовья мужа.

Вот тогда дрезина тронулась.

Под стук колес бабы и мужики громко говорили про погоду, про Горбачева и Ельцина, про то, что третью неделю нет дождя, и на капусту и прочую огородную овощ идет столько воды, что, кажется, река Сосьва обмелела как никогда прежде.

– А ты, Яков Егорыч, о том не думай, – сказал Тимофей Поткин, возвращая провожающих к теме дня и что-то поправляя у покойника. – Не твоя енто теперь забота. Отдыхай себе.

Вздрагивая на рельсовых стыках, дрезина шевелила и покойника, уравнивая его со всеми сидящими.

У Анюты не было мыслей в голове. Она только силилась вспомнить, когда же Яша эти три километра до станции ехал, а не шел пешком. И припомнить не могла. « Неужто впервые? » – слабо удивилась она.

...Обратно, с кладбища, шли пешком вдоль рельсов, растянувшись двумя цепочками. Начальник станции тоже почтил поминки своим присутствием. По этому поводу Анюта хлопотала вдвойне, рассаживая тринадцать присутствующих за уже готовым столом. Все у нее было под рукой, обо всем она подумала заранее. Была хлопотлива без суеты, улыбчива и предупредительна к каждому. За поминальным столом водки наливала еще и еще. И обратно на станцию провожавшие, исключая Тимофея Поткина с сожительницей Светой, шли по рельсам неровно, то и дело пытаясь затянуть песню.

2

Оставшись совсем одна, убрав со стола и перемыв в горячей воде посуду, Анюта присела за столом напротив полного нетронутого стакана мужа, накрытого ломтем хлеба.

В эту пору дня Яша привычно доставал из ящика комода свою толстую тетрадь, собранную из нескольких ученических в одну клеенчатую обложку. Достала и она. Осторожно открыла тетрадь – знакомую и такую таинственную, Яшину, еще державшую в своих закоулках запах его руки и его дыхание, неведомую ей его бытность. Она долистала исписанное до чистой

страницы и, удивляясь своему почерку, своей руке на белом листе бумаги, написала: «3 июля 1994 года в 3 часа 44 минуты Яков Егорович Якушев кончился».

Буквы складывались в слова трудно, ложились на бумагу не по-яшиному, словно Анята впервые в жизни делала эту не свою работу – мужскую, мужнину, неведомую ее руке.

Странное родилось ощущение. Были, оказывается, в доме, во дворе, за оградой предметы, практически ею не задеваемые – Яшины. Их, казалось бы, не так уж и много было за точившей его изнутри хворью. Но они были, и отсчет их Анята начала вот с этой тетради, которую прежде, сколько помнилось, никогда не держала в руках.

Теперь она жила за двоих, и то иное, мужское, ей неведомое предстояло ей найти в себе самой, если довелось теперь одной жить дальше.

Страницы, как самые Яшины ладони, держали в себе его неведомые ей слова и мысли. Эти слова были еще теплы, как остывающие в руке картофелины.

«18 февраля 1944 года, – читала Анята, – t утром – 16 градусов. Сильная потайка. Одна сосулина на крыше коровника достала до земли – еще и Милка надышала. Ночью насмелился и сказал Аняте, чтобы сходила на ночь к Поткину Тимофею. Все свой человек, сосед. Пока он без бабы. Анята ничего не сказала, только проплакала до утра. Совсем не спали».

Лицо Аняты жаром занялось, когда прочитала, словно бы кто услышал.

– Когда это было-то, Яша, – горестно закачалась она над тетрадью, словно бы он сейчас ей напомнил.

...С фронта Яков пришел живой после долгих госпитальных лежаний. Все при нем вроде было – руки, ноги, голова. Но скоро оказалось, что не все. Оставшийся после ранения недуг обнаружился в первую же ночь. Весь влажный и холодный, Яков вдруг отстранился от нее, горячей и напряженной. Долго лежал недвижно, откинувшись на спину. Анята потом только поняла, что тогда творилось в его душе. А поначалу, остывая и не догадываясь, она целовала его холодные, словно окаменевшие, щеки и говорила, говорила...

– Яша, миленький, да не бери ты в голову, отдохнешь, отъешься на Милкином масле... Мы с тобой еще столько деток нарожаем, Яшенька.

Но проходили ночи одна за другой. Все меньше было слов у Аняты для Якова. А он... Ой лихо было Яшеньке, ой лихо! То ожесточался он в постели до бессильного пота, то лежал закаменевший и безмолвный.

Наконец, однажды собрался и поехал в город, в железнодорожную поликлинику.

День, потом другой не было Якова дома. Анята места себе не находила, из рук валилось все. То и дело поднималась на насыпь, высматривала мужа.

А он пришел, словно с неба упал, видать, берегом Сосьвы возвращался, чтобы подлиннее да побуреломнее выбрать путь – это по февральскому-то снегу берегом!..

Увидев Аняту, только махнул рукой и принялся за обычные домашние дела.

Ночь, другую, третью лежали они рядом, почти не касаясь друг друга, а на четвертую Яша и сказал ей *это*.

Тимофей Поткин и впрямь был почти своим. Всего два двора и стояли в Якушихе, и второй был Тимофея Поткина. Отцы Якова и Тимофея построились рядом, образовав полустанок, который почему-то обрел имя Егора Якушева – Якушиха. Дома с той поры обросли пристройками. Выгоны и огороды, обнесенные живой ивовой изгородью, то и дело удлинялись между берегом Сосьвы и насыпью железной дороги – земли и заливных лугов было здесь немеряно.

Яков незадолго до войны привез в дом Аняту, а Тимофею Поткину с женами ну никак не везло. Поживет одна год-полтора, бывало, даже народит ребятенка и подастся в город – дорога-то железная рядом. Пригородные поезда у Якушихи притормаживали, если машинист видел на насыпи человека, а дальние проносились, не оглядываясь. В чем была у соседа причина – не кому было о том и посудачить в Якушихе. Тимофей Поткин, когда ждал с Анятой или Яковым вагон-лавочку под навесом, после очередной «жены» только посмеивался:

– Не моя оказалась. Опять чью-то чужую прихватил.

Анюта пошла к Тимофею Поткину на следующую ночь. Отложить, не выполнив мужнина приказа, она не могла. Пойди она двумя-тремя днями позже – это была бы уже не Яшина, а как бы ее собственная затея.

С Яшей она глазами не встречалась – не то, чтобы разговаривать. Будто повздорили они. Собралась на скорую руку – словно бы на вечернюю дойку. Или соли у Тимофея занять. Сколько раз перед тем репетировала свой приход к соседу, а так ни на чем и не остановилась – шла, как в ледяную воду ныряла.

Фонарь на столбе у ворот был у них общий. Подошла к воротам. Как открыть задвижку, конечно, знала, но сама открывать не стала, а отчаянно, как ей показалось, застучала железной накладкой, чтобы Серко залаял, позвал хозяина открыть.

Тимофей вышел в валенках и нательной рубаше, цикнул на Серка.

– Ты ли чо ли, Яков? – спросил. Кому еще было в эту пору года и в такой час?

– Это я, Тимофей, Анюта.

– Ну так што колотишша. Не знаш, чо ли?

Анюта молчала. Ждала, когда откроет. Ей вдруг греховно так подумалось, что знай Тимофей, зачем шла к нему Анюта, стоял бы у ворот в фонарном круге молодцом, а не в пимах и рубаше навыпуск.

– Слышь, Тимофей, что хочу сказать-то, – начала Анюта загадочно, понуждая хозяина впустить ее во двор, а потом и в избу. Обычно-то у них было принято сразу у порога, а то еще и голосом из-за ворот говорить свою надобность – какое у Анюты к нему личное дело может быть?

Пропустив Анюту в дом, Тимофей продолжил то, что делал – щепать кухонным ножом лучину для растопки печи.

– Ты что сегодня с печкой-то припозднился? – обрадовалась Анюта возможности начать разговор.

– А што мне? Ночь-от дли-инная. Это вам с Яковым есть чем заняться ночью-те, а мне, бобылю, только в трубу палить. Садись, гостьей будешь.

Анюта и так-то была напряжена как бельевая веревка, а после слов Тимофея и вовсе не знала, как начать. «Ведь могла бы догадаться, что он скажет на ее приход, охальник. Подобрать слова».

– Мы с Яковым знаешь, что подумали, Тимофей, – начала, наконец, Анюта, радуясь тому, что хозяин занят растопкой и не смотрит на нее.

Произнеся «с Яковым», она вдруг представила его себе сейчас в доме одного. Уже ведь сколько времени-то прошло!?! Наверно ходит по комнате, представляет, что его Анюта поди сговорила с Тимофеем. Налаживают вместе чайком побаловаться перед ответственным делом. А то у Тимофея и чего покрепче найдется.

Она даже видела его лицо – какое-то детское, беспомощное, какое было той первой ночью после немца, его руки видела, бесполезно ищущие сейчас заделья и не находящие ничего, и плечи, плечи его видела, задрожавшие вдруг от неслышного рыдания...

«Яшенька, миленький мой, – ужаснулась Анюта. – Да как же мы могли, бесстыжие? Это какое же наваждение ослепило нас с тобой, Яшенька». И она заторопилась:

– Да ты послушай меня, Тимофей, отступись от печки-то. Мы ведь что с Яшей подумали – пчел завести. А твоя Глафира, помню, говорила мне про отцову пасеку. У тебя случаем ее городского адреса нету ли?

– Ты, Анюта, што прямо счас собралась в город-те?

– Так Яша говорит, завтра бы и слетала с алапаевским. Он ведь знашь у меня какой?

– Ну слетай. Дам я тебе Глашкин адрес. Только чур – девку мне из города вези, – захотал Тимофей и молодеваато притопнул валенком. – По себе, слышь, выбери.

– Ладно, заболталась я с тобой, охальником.

Анюта перевернула страницу Яшиного дневника и нашла 19 февраля. Сначала, как всегда, шли погодные сведения, а за ними сразу, без абзаца: «Анюта не насмелилась».

3

Теперь Анюта каждый раз после трудового дня брала Яшин дневник и, поддельваясь под его стиль, записывала погоду и новости. А заодно листала и свою с Яшей жизнь, зацепившись за какое ни то отмеченное им событие.

Яков был скуп на слова, шел по белым страницам тетради как по минному полю, выбирая, куда ступить. Но перед глазами Анюты то, чего коснулось его перо, воскрешалось целым рядом картин с мельчайшими их подробностями. Яша только набрасывал контур, а уж Анюта дорисовывала картину со всеми ее деталями. Это было как чудо и волновало Анюту.

«Милка повредила левую ногу, когда всходила на поветь», – прочитала Анюта под 27 апреля 1962 года. И встал перед ее глазами тот апрель...

Весна в Якушихе любому времени года фору даст. «Переживу весну – еще год не усну», – радуясь неожиданно красивому сочетанию звуков, говорила Анюта.

Причиной тому была Сосьва. Обычно невеликая и медлительная, весной река непременно выходила из берегов, затопляя всю округу до самой железнодорожной насыпи. А были весны, так и насыпь кое-где перехлестывали ее неумные воды и приходилось поездам омыwać колеса речной водой.

Половодье Якушиха ждала и встречала как трудный и непредсказуемый праздник, каприз природы. Что выкинет Сосьва в очередное свое гостевание на лугах, огородах и дворах якушевских обитателей, знать никто не мог. Принесут ли дров на зиму ее вездесущие воды, вымывая топляки и собирая по берегам застрявшие в ивняке остатки бывшего некогда лесосплава? Будет ли вода добычливой на рыбу, ведь промышлять саком в пору половодья можно было не выходя со двора? Хорошо ли удобрит на лето заливные луга речным взбаламученным илом? А уж чем еще порадует или огорчит расходившаяся река – одному Богу ведомо.

К апрелю Якушиха готовилась загодя. Только пригреет солнышко и начнутся потайки, Яков уже проверяет и отлаживает поветь, куда на время половодья поднимают Милку, кур, собаку Волгу со всем их обиходом. А Анюта и из избы поднимала все, что может понадобится для жизни между небом и водой. Лодка конопатилась и обсмаливалась. Плотики – один и другой – причалены к ограде в ожидании воды. Весь мелкий обиход, что может быть смыт и унесен, прятали хозяева от водяного.

На случай, если взбеленится река и перекроет насыпь, запасались мукой, крупами, сахаром, а Яков не забывал схоронить на повети и пару лишних поллитровок «Перцовой» – Семков с кем-то из друзей обязательно нагрянет порыбачить на вольной воде, побаловаться саком: когда как не в половодье поживиться едва ли не даровыми щурятами да окунями. Затеет Анюта уху и посылает кого из гостей сгонять на плотике и сакануть в заливной траве. Уже через час стоит на повети густой ушиный аромат, и Волга переступает и повизгивает в ожидании остывающей щучьей головы...

В апреле у Якушевых на повети и стол, и дом.

А той весной Милка в этой суете где-то и повредила заднюю левую ногу. И ни Анюта, ни Яков этой Милкиной беды сразу не заметили. А только в самый разлив воды. На дойку Милка поднялась с трудом, стояла беспокойно и весь остаток дня не покидала сенной подстилки.

Яков с Анютой Милку пошевелили, поспрашивали и дошли до левой ее ноженьки – батюшки-светы, а там нарыв уже почти с Яшин кулак, и черный Милкин «чулок» этим нарывом вздулся, обнажив лиловую кожу.

– Да что же ты молчала-то, Милочка, эго место? – взмолилась на нее Анюта. – Ведь мы же с Яшей ни сном-ни духом. И где тебя угораздило, красавица моя?

Милка переставала жевать и косилась на Анюту большим коричневым глазом, неохотно впуская ее в свою грустную коровью думу.

На станции Урай своего ветеринара не было. С утра Яков наладился в город.

До насыпи доплыли в лодке вместе с Анютой. Мутная желтая вода беспечно играла приливом и отливом в полуметре от рельсов. Они стояли и смотрели на два беспомощных домика с пристройками посреди широкой – глазом не охватить – водной глади. Ивовые и черемуховые заросли вдоль берегов Сосьвы теперь, казалось, плавали где-то посередине разбежавшейся во все стороны реки. Не видать и изгороди, только бьются друг о друга выловленные Яшей и заякоренные бревна. И дом их, и покосившаяся издали поветь тоже, казалось, беспомощно плавали. И где-то там, невидимые, ждали их родные живые существа, доступные малейшей прихоти ветерка и течения.

Алапаевский пригородный – дай ему Бог здоровья! – тормознул, машинист помахал рукой из кабины и проводница предпоследнего вагона открыла дверь и опустила подножку – Якова в этом поезде знали.

– Поезжай с Богом, – сказала баба Анюта вслед Якову и, дождавшись, когда паровоз пустит пары, оттолкнула лодку и поплыла к Милке.

День прошел в уверенности, что помощь вот-вот придет – или с какой дрезиной, или вечером опять с алапаевским пригородным.

Но солнце дурило, перепутав апрель с июлем. Сосьвинская вода поднималась на глазах, принимая в себя бесчисленные речки и ручьи, текущие с гор. Анюта со страхом смотрела на сходни, ведущие к ней на поветь: после Яши уже четыре ступеньки ушли под воду. А солнце все палило, все било прямой наводкой в проем повети и в Милкин белый бок. Шерсть лоснилась, то и дело занимаясь мелкой дрожью.

Анюта сидела рядом с Милкой на доильной скамейке и ничего, кроме Милкиной беды, ей в ум не шло. Смотрела за двор и ворота на дальнейшее течение Сосьвы, а там то и дело проплывала разная нежить, оторвавшаяся от своих корней: забытый кем-то стожок осевшего сена с косо торчащей сердцевиной, необитаемый плот с горкой какого-то хлама, а вон и целая банька еще почти новая неспешно проплыла с остатками железной трубы на рубероидной крыше. Распахнутые двери предбанника словно что-то кричали разухабистое и отчаянное... Вода – это уже нельзя назвать рекой – затеяла с человеком опасную и коварную игру. Корова Милка с полустанка Якушихи оказалась прямо в ее эпицентре.

Когда в положенное время алапаевский не пришел, и на рельсах вообще не было никакого движения, баба Анюта поняла, что помощи Милке сегодня не будет. Высмотрев на рельсах Тимофея Поткина – его была нынче смена – она закричала, еще не теряя надежды:

– Ну что там, Тимофей?

– У оврага насыпь размыло. Ходил на станцию рабочих звать. Только к ночи посушили. Молись, Анюта, чтобы ночью рельсы не сели, если так-то пойдет.

Теперь баба Анюта знала: Яков помочь не в силах. Сидит, поди, в закутке у дежурного на станции Урай и держит ветеринара всякими посулами. А у того, видишь ли, дел невпроворот, он капризничает и набивает себе цену.

И еще знала она: Милкина судьба теперь на ней лежит.

Анюта вернулась на поветь и поместилась у милкиной головы. Милка лежала, вытянув шею и глядела на нее терпеливыми бабьими глазами. Опухоль накрыла полноги и багрово просвечивала сквозь сухую черную шерсть. Встать Милка уже не могла, а вымя ее просило дойки.

– Ладно, Милушка, ладно, сердешная, лежи и лежи, кровинушка моя, мы и так тебя подоим за милую душу, – приговаривала Анюта, и уже не было в ее голосе и движениях рас-

терянности и ожидания. «На войне как на войне» – звучали в голове когда-то услышанные по радио слова.

В жизни Анюты и Якова была только одна война. Как казалось сейчас Анюте, она прошла на одном большом дыхании.

Она придвинула скамейку к вымени, обмыла теплой, из чайника, водой, что ждал своего часа на электроплитке; приспособила тазик и ударила по нему первой молочной струей.

Милкина шерсть мелко вздрагивала то там, то тут. Она то и дело вскидывала голову, будто силилась что-то сказать Анюте. Раз, потом другой Анюте пришлось опрастывать посудину, чтобы молоко не лилось на пол, но вымя уже слабело. Милка лежала, не поднимая головы, а всем своим существом благодарила Анюту за временное облегчение.

К концу дойки совсем смерклось над водой. Сходни уходили в глубокую темь, но осветив их фонариком, Анюта увидела, что еще одна ступенька погрузилась в густую черную воду.

День прошел в хлопотах вокруг Милки. Анюта ничего не готовила и не ела – просто в голову не шло. Делала Милке болтушку из отрубей и картошки, сдабривая ее же свежим молоком. Но Милке тоже было не до еды. Поднять ее хотя бы на колени не было никакой возможности. Анюта меняла под ней подстилку, убирая мокрое и грязное сено. Под большую ногу соорудила подушку из сена и своего старого халата. Пытаясь разбудить в Милке аппетит, выбирала из сена зеленые и пахучие цветы и траву, клала перед ней охапкой. Милка, подняв голову, доставала траву губами, но голова тотчас беспомощно падала, и Милка скоро переставала жевать.

К ночи ей стало совсем плохо. Поднялась температура, и все большое Милкино тело ходило ходуном. Ногу разнесло, она лежала на сенной подушке, словно была и не ее вовсе, а чужая.

– Потерпи, Милочка, потерпи, солнышко мое, – обливаясь слезами, уговаривала Анюта, а сама лихорадочно вспоминала, где в доме что лежит.

Глядя на Милкину ногу, Анюта понимала, что грядет какой-то финал. Милкино тело горело.

Решительно спустившись по сходням на плот, который маленьким паромом по веревке ходил от сходней к дому и внутрь него, Анюта вплыла в сени, потом на кухню, в комнату. Темная вода билась по стенам.

В верхнем ящике комода, под которым ходила и, казалось ей, стремительно прибывала вода, нашла бинт и вату, пузырек с йодом; в другом ящике – Яшину опасную бритву...

За окнами и за распахнутыми дверьми дома стояла густая темнота и, мнилось ей, вместе с водой вползала и заполняла кухню и комнату. И где-то там, в этой темени, между звездным небом и черной водой еще жила, еще дышала, еще страдала, еще ждала ее Милка. И кроме нее, Анюты, не было на свете человека, который был бы в силах помочь ей.

Рассовав все по карманам халата, она заторопила плотик назад, к сходням – целая вечность прошла, как оставила она Милку.

Милкино черно-белое тело горело и ходило ходуном, только больная вздувшаяся нога недвижно лежала на подушке.

– Сейчас, Милочка, сейчас, родимая, – заторопилась Анюта, делая все механически, одними руками. Плача навзрыд в пустоту безлюдной ночи, она подставила под Милкину ногу чашу, сунула лезвие бритвы в кипяток и, зажмурив глаза, резанула бритвой по лиловому.

Милка не вскинулась, не взревела, наверно, это была уже не боль для нее.

Когда Анюта глянула на дело рук своих, чаша была полна бело-розовым. Милка лежала без движения, словно лезвием бритвы не жизнь ей облегчила Анюта, а смерть.

Анюта схватила толстый марлевый тампон, горсть ваты и всем этим сдавила Милкину рану. Бело-розовое тотчас наполнило чашу и потекло на пол, на подушку, на сено. Дождав-

шись, когда последует кровь, другим тампоном она накрыла рану, густо и плотно обложила ватой и принялась бинтовать. Ни нога, ни сама Милка не подавали признаков жизни.

– Дай господи... дай господи, – произвольно, словно сами собой, шептали Анютины губы. – Дай здоровья Милушке моей, господи.

Больше не было сил, и Аня, уронив голову на теплый Милкин живот, провалилась в сон.

Но и сон не дал ей освобождения. В поту и бреде она продолжала опасную операцию. И Яков был с ней, и тоже порывался к Милке, а она все пыталась его остановить, уберечь Яшу от Милкиных умиротворенных глаз: ведь ему, сердешному, придет срок...

А потом возник перед ней старец, ликом похожий на Якова, но весь в бороде и усах. И длинные прямые волосы спадали ему на плечи. Это был Бог, и она, уже обессиленная, услышала его слова:

– Ты, Аня, просила Милке здоровья – я ей дал. А у кого, скажи, мне было взять его? У тебя и взял.

С рассветом на полустанок Якушиху прошла-таки дрезина с Яковым и дремавшим на чурбаке ветеринаром.

На зов Якова Аня не отозвалась, и на лодке за ними приплыл к насыпи Тимофей Поткин. Он ничего не мог сказать Якову, что и как у него там, на повети, да Яков особо и не спрашивал. Он плыл стоя, прямой и суровый, готовый ко всему. Оставив в лодке замешкавшегося ветеринара, взбежал на поветь.

Аня спала, припав головой к мерно вздымавшемуся Милкиному животу. Перебинтованная Милкина нога лежала на сенной подушке. Рядом стояла чаша, накрытая белым лоскутом. А по повети, пронизанной солнцем, из угла в угол носился утренний воробей, оглашая мир неумным чирканьем.

4

Аня любила гостевать. По натуре была она общительная и веселая – выпади другая карта, дала бы фору многим плясуньям-хохотуньям. Но оказавшись по жизни возле молчуна и инвалида, она брала свое нечастыми гостеваниями.

Собиралась загодя, едва ли не всю долгую зиму и суматошную весну. Готовила и берегла в подполе наливку – любимую Яшину рябиновую да еще клюквенную, какую обожал их постоянный гость Семков. Варила студень из телячьих лыток; если первый не удавался добрым трясуном, оставляла для себя, а гостям настаивала второй, третий...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.